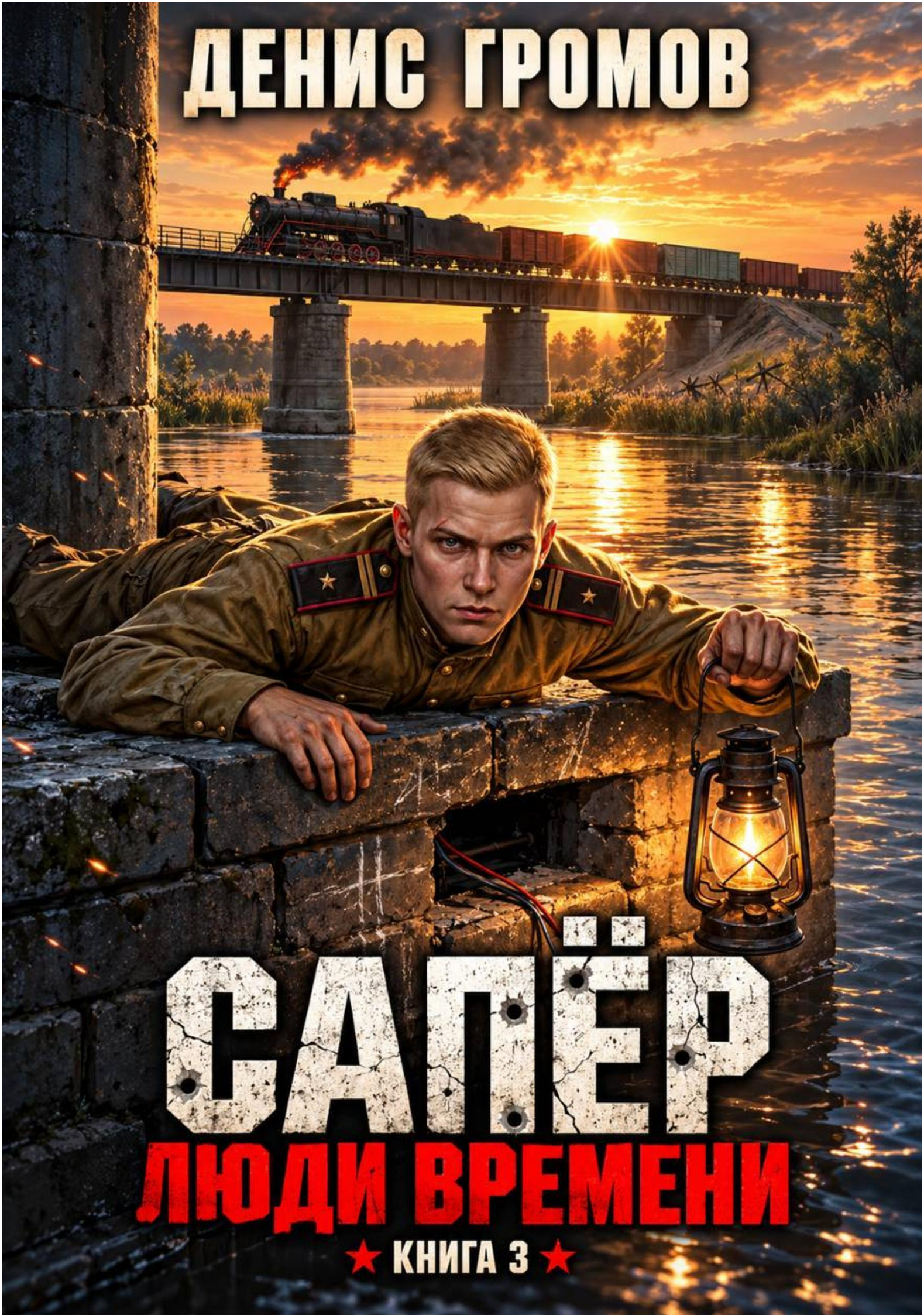

ДЕНИС ГРОМОВ
САПЁР
ЛЮДИ ВРЕМЕНИ
КНИГА 3

Сапер

Денис Громов

Сапер. Люди времени

«Тайниковский»
2026

Громов Д.

Сапер. Люди времени / Д. Громов — «Тайниковский», 2026 — (Сапер)

Сапёр из нашего времени приходит в себя в июне 1943 года — в теле молодого красноармейца, которого с маршевым пополнением отправили под Курск.Вокруг подготовка к главной битве войны: ночные минные поля, тысячи мин за смену, поля, которых никто не записывает. Батальон теряет людей не от вражеского огня, а на собственной работе. У него нет ни техники, ни времени, зато есть опыт, методика и умение видеть то, чего не видят другие.Он превращает работу сапёра из смертельной лотереи в точный расчёт.Немцы называют его Кротом.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Пролог 5
Пролог 10
Глава 1 16
Глава 2 27
Глава 3 37
Глава 4 47
Глава 5 58
Глава 6 68
Глава 7 78
Конец ознакомительного фрагмента. 88

Денис Громов
Сапер. Люди времени

Пролог

Гауптман Эрих Хальм узнал, что его опознали, за одиннадцать дней до того, как за ним пришли.

Он это понял по хлебу, и понял в тот же день, когда его выдали.

В лагере номер сто шестьдесят восемь под Минском содержалось около четырёх тысяч человек, и хлеб выдавали по норме, зависящей от выработки. Хальм работал на кирпичном заводе, вырабатывал восемьдесят процентов и получал соответственно.

А четырнадцатого октября сорок шестого года ему выдали норму первой категории.

Он не стал спрашивать почему.

Он взял хлеб, съел его — не сразу, а как ел всегда: отламывая по куску и подолгу пережёвывая, потому что так дольше держит, — и весь день просидел на своих нарах, соображая.

Норму первой категории в этом лагере получали двадцать два человека: врачи, переводчики и трое инженеров, работавших при управлении лагеря на восстановлении котельной.

Хальм не был ни врачом, ни переводчиком.

А инженером его тут никто не считал, потому что в учётной карточке у него стояло: «унтер-офицер сапёрных частей».

Он записался так в апреле сорок пятого, на пятый день плена, когда понял, что офицеров и специалистов отделяют и увозят отдельно.

Он тогда посчитал.

Расчёт был простой и оказался верным: офицера будут допрашивать, а унтер-офицера — кормить и посылать на работы. Первое кончается непредсказуемо. Второе — предсказуемо и, при известной осторожности, не смертельно.

Восемнадцать месяцев расчёт держался.

Хальм таскал кирпич, чинил печи для обжига, дважды переболел и не умер, выучил около тысячи русских слов и научился их произносить так, чтобы его понимали с первого раза.

А теперь ему дали первую категорию.

Значит, кто-то в управлении лагеря знал, что он инженер.

Значит, кто-то сказал.

За ним пришли двадцать пятого октября, утром, до развода.

Пришли двое: русский лейтенант и переводчик из своих же пленных, немец из Гамбурга по фамилии Ленц, работавший при канцелярии.

— Хальм Эрих? — уточнил лейтенант.

— Так точно, это я.

— Собирайтесь с вещами.

Вещей у него было немного: котелок, ложка, обмотанная тряпкой книжка без обложки — русско-немецкий словарь, выменянный в сорок пятом за три пайки хлеба, по которому он выучил всё, что знал, и деревянный гребень, вырезанный им самим из доски от ящика.

Он собрался за минуту.

Соседи по нарам глядели молча.

За восемнадцать месяцев в этом бараке Хальм не сошёлся ни с кем, и не потому, что был высокомерен, а потому, что не видел смысла: в лагере люди сходились по землячествам, а он был из Вюрцбурга и земляков тут не имел.

Один только старик из Бреслау, спавший через двоих, приподнялся на локте.

— Эрих. Тебе что-нибудь оставить?

— Ничего не надо.

— Хлеб?

Хальм подумал.

Хлеб он получал первой категории уже одиннадцать дней и за эти дни впервые за полтора года перестал думать о еде постоянно.

— Хлеб раздайте, — ответил он.

Ленц, шедший рядом, покосился на него в коридоре — быстро, искоса, как глядят на человека, которого через час, возможно, уже не будет.

— Хальм, ты знаешь, за что тебя?

— Знаю, за что.

— И что теперь с тобой будет?

Хальм подумал.

— Теперь будет работа, — спокойно ответил он.

***

Первый допрос был двадцать шестого.

Допрашивал майор — немолодой, усталый, с пожелтевшими от табака пальцами, — и допрашивал через Ленца, потому что не верил, что пленный говорит по-русски.

— Фамилия, имя, звание, часть, — потребовал он.

— Хальм Эрих. Гауптман. Отдельная инженерная команда при штабе группы армий.

Майор поднял голову.

— В карточке у вас унтер-офицер, — поднял голову майор.

— В карточке ошибка, — не стал скрывать Хальм. — Я её сделал сам, в апреле сорок пятого.

Ленц перевёл и поглядел на него с ужасом.

Майор отложил карандаш.

— Вы понимаете, что вы сейчас признались в даче ложных сведений?

— Понимаю.

— И зачем признались?

Хальм подумал, как это сказать по-русски, и решил сказать проще, чем думал.

— Потому что теперь ложь мне не нужна, — ответил он. — Теперь нужна правда. Она полезнее.

Допрашивали его шесть раз за три недели.

Он отвечал охотно, подробно и без пауз. Про организацию работ, про подчинение, про то, как отбирали исполнителей и чему их учили.

Он не назвал ни одной фамилии сослуживцев, и это заметили.

— Хальм, вы фамилий не помните?

— Помню все.

— А почему не называете?

— Потому что вы не спрашиваете, — ответил он. — Вы спрашиваете про порядок работ. Я отвечаю про порядок работ.

Майор побарабанил по столу.

— Хорошо, спрашиваю, — уступил майор. — Кто работал с вами?

И вот тут Хальм в первый раз за шесть допросов помолчал дольше секунды.

— Со мной работали одиннадцать человек, — выговорил он наконец. — За два года. Девять из них были солдаты, которых мне давали на неделю или две. Я их фамилий не запоминал, потому что они менялись.

— А что за двое?

— Двое были мои.

Он поглядел на майора.

— Один погиб в феврале сорок пятого при разгрузке. Его фамилия Кёниг, ефрейтор, из Дрездена.

— А второй где?

— Второй жив, — обронил Хальм. — И я его фамилию не назову.

Ленц перевёл и добавил от себя что-то по-немецки, быстро и тихо.

Хальм поглядел на него.

— Не надо этого, — велел он по-русски. — Переводи, что я говорю. Больше ничего.

Майор откинулся на стуле.

— Хальм, вы понимаете своё положение?

— Понимаю его хорошо.

— И всё-таки не назовёте?

— Не назову, — подтвердил он.

Он положил руки на колени.

— Господин майор, я объясню, а вы решите, — предложил он. — Этот человек не ставил. Он только помогал: копал, носил, крепил. Он был у меня три месяца, и ему тогда было девятнадцать лет.

— Это не имеет значения.

— Для меня имеет, — не уступил Хальм.

Майор долго на него глядел.

— А остальное вы говорите охотно, — заметил майор.

— Остальное — моё, — отозвался Хальм.

***

Третий допрос был четвёртым по счёту в ноябре, и на нём Хальм задал свой единственный вопрос.

Задал он его в конце, когда протокол уже подписали.

Он поднялся, оправил бушлат и обронил:

— Господин майор, разрешите вопрос, — окликнул он.

Майор удивился.

— Спрашивайте, если коротко.

Хальм подбирал слова секунд пять.

— В марте сорок третьего года я оставил надпись, — выговорил он. — На объекте. Углём, на кирпиче.

— Знаю, — ответил майор. — Есть в деле.

— Её прочли тогда.

— Прочли, было такое.

Хальм поглядел на него.

— Господин майор, я хочу знать, — выговорил он. — Тот человек, который её прочёл. Он жив?

В комнате стало тихо.

Ленц перевёл вопрос дважды, потому что майор попросил повторить.

— Хальм, а зачем вам это знать?

Он подумал.

И ответил то, что думал на самом деле, потому что за восемнадцать месяцев отвык врать по мелочам.

— Затем, что я его знаю лучше, чем кого-нибудь другого, — ответил он. — И ни разу не видел.

Майор поглядел на него.

— Вы его как называете? — уточнил майор.

Хальм помолчал.

— Der Maulwurf, — выговорил он наконец. — По-русски крот.

***

После допроса его вернули не в барак, а в отдельное помещение при канцелярии: комната три на четыре, нары, стол и печка, которую топили.

И дали бумагу.

Двадцать листов и карандаш, с обязательством сдавать всё исписанное.

Хальм сел за стол вечером двадцать первого ноября и просидел до отбоя, не написав ни строчки.

Он не знал, с чего начать.

За два года он поставил, по своему счёту, около четырёхсот зарядов на ста семнадцати объектах в шести областях.

Из них он помнил точно — с привязкой, с расстоянием и с описанием — примерно шестьдесят объектов.

Ещё сорок помнил приблизительно: область, район, характер объекта, но не место.

А семнадцать не помнил вовсе.

Вот эти семнадцать его и держали.

Он сидел за столом в тёплой комнате при канцелярии лагеря номер сто шестьдесят восемь, и перед ним лежало двадцать листов чистой бумаги, и он в первый раз за войну испугался по-настоящему.

Не расстрела и не лагеря.

Он испугался того, что семнадцать объектов, которые он поставил своими руками, лежат в земле, и он единственный человек на свете, который мог бы сказать где, — и не может.

Хальм взял карандаш и написал вверху первого листа одну строчку.

По-русски, печатными буквами, потому что так его точно поймут.

«СПИСОК ОБЪЕКТОВ. НАЧИНАЮ С ТЕХ, КОТОРЫЕ ПОМНЮ ТОЧНО».

И стал вспоминать.

Вспоминал он не так, как вспоминают обычно.

Он не пытался перебирать объекты по порядку — этого порядка не существовало, потому что за два года его перебрасывали с участка на участок без всякой системы.

Он вспоминал по дорогам.

Всякий объект был привязан к дороге, по которой он к нему приехал, и всякая дорога начиналась от места, где стояла машина.

Штайнер, его водитель с сорок первого года, возил его на одном и том же «кюбельвагене» и всегда останавливался одинаково: не у самого объекта, а метрах в двухстах, за укрытием.

Значит, надо вспомнить, где стояла машина.

Хальм закрыл глаза и стал вспоминать не мосты и не погреба, а обочины.

К третьему вечеру у него было двадцать объектов.

К седьмому — сорок один.

На девятый вечер к нему пришли.

Пришёл тот же майор, сел на табурет и минут пять читал написанное, не говоря ни слова.

— Хальм, вы это сами придумали? — не поверил он.

— Что именно, господин майор?

— Вот это, — майор постучал по листу. — Вы пишете тут: «привязка от места стоянки автомобиля». Я такого способа не встречал.

— Я тоже не встречал, — подтвердил Хальм. — Я его придумал в этой комнате.

Майор поглядел на него.

— Зачем?

— Затем, что иначе не вспомнить, — пояснил он.

Он показал на свои листы.

— Господин майор, у меня сто семнадцать объектов. Если я буду вспоминать по датам, я перепутаю. Если по областям — тоже. Я в этих областях бывал по два и по три раза.

— А по дорогам не перепутаете?

— Не перепутаю, — подтвердил Хальм. — Дорога одна. По ней я ехал один раз в одну сторону.

Майор дочитал последний лист и сложил стопку.

— Хальм, я должен вам сказать одну вещь.

— Слушаю, господин майор.

— Ваши сведения будут проверять, — предупредил он.

— Разумеется.

— И если хоть один объект не подтвердится…

Хальм не дал ему договорить — единственный раз за всё время.

— Господин майор, все объекты подтвердятся, — произнес он. — Кроме тех, которые уже вскрыты, и тех, которых я не помню.

Он поглядел на майора.

— Я не буду выдумывать. Мне это невыгодно.

Майор поднялся.

— Пишите дальше, — велел он.

Он дошёл до двери и обернулся.

— Хальм, а сколько всего вы помните?

Хальм подумал.

— Точно — около шестидесяти. Приблизительно — ещё сорок.

— А остальные?

И вот тут, прежде чем ответить, он задумался.

— А остальные семнадцать я не помню, — честно ответил Хальм. — И это, господин майор, единственное, что меня в моём положении беспокоит.

Третья книга будет заключительной. Если вам нравится, то еще разок попрошу и больше не буду. Подпишитесь, если не трудно. Это пара секунд. Еще пара, отписаться, если мои книги перестанут вам нравится.

Пролог

Вызов пришёл девятнадцатого января сорок седьмого года.

Не письмом и не по телефону — телефона в районном совете Осоавиахима не было вовсе, а бумагой через областной совет, с курьером.

Я её прочитал стоя.

«Тов. Ковалёву П. Н., инструктору Орловского районного совета.

Предлагается прибыть к 1 февраля с. г. в распоряжение инженерного управления для участия в работе группы по сбору сведений от военнопленных инженерных специальностей.

Срок командировки — до особого распоряжения.

Основание: запрос инженерного управления от 14.11.46 г.»

«До особого распоряжения» — эти три слова означали, что я не вернусь.

Я это понял сразу, потому что за три года выучил язык казённых бумаг лучше, чем хотел бы.

Ткаченко прочитал через моё плечо.

— Товарищ младший лейтенант, а как же группа?

— Примешь ты, больше некому.

— Это я-то приму? — он даже отступил.

— Ты и примешь, — подтвердил я. — Шестьдесят четыре человека, три поля и журнал. Ты это уже год ведёшь, только под моей фамилией.

Он молчал.

— Ткаченко, я тебе честно скажу, — произнес я. — Тебя не утвердят инструктором. Ты не офицер и без образования.

— Знаю я это.

— Значит, будешь работать без должности, покамест я не выбью.

Он подумал.

— А выбьете, товарищ младший лейтенант?

— Не знаю, — не стал я обманывать. — Постараюсь.

Он поглядел на мою бумагу.

— Товарищ младший лейтенант, а вы куда едете-то?

Вот на этот вопрос я не мог ответить.

Не потому, что не знал — я как раз знал, а потому, что сказать это вслух означало объяснить всё остальное: про хутор, про надпись углём, про три с половиной года и про две тетради, из которых одна была озаглавлена его именем.

— Работать с пленными, — отозвался я. — Собирать, где они чего поставили.

— Это надолго вас?

— До особого распоряжения.

Ткаченко кивнул.

— Ага, — подытожил он. — Значит, насовсем.

***

Собирался я два дня.

Вещей за год в Орле у меня набралось немного: смена белья, бритва, три тетради, книжечка Верещака в клеёнке, журнал Ткаченко с тысячей восемьюстами сорока семью, справочник для поступающих, который дал мне Гольцман, и латунный напёрсток Гладышева.

И сто восемь листов моего дела, которые я так и не сжёг.

Вот с ними я провозился дольше всего.

Я их перечитал — весь вечер, лист за листом, — и прочитал про себя вещи, которых не знал.

Донесение сержанта Гурьева от двадцатого июля сорок третьего года: «…по существу заданных вопросов сообщаю, что кр-ц Ковалёв в работе аккуратен, спешки не допускает, чем вызывает недовольство отдельных бойцов…»

Объяснительная старшины Панкратова от девятого августа: «…откуда он это знает, мне неизвестно и я не спрашивал. Считаю, что человек, который умеет работать, имеет право не объяснять…»

Рапорт лейтенанта Бабичева от пятнадцатого июля: «…прошу представить к правительственной награде…»

И справка из елецкого горвоенкомата с приложенной характеристикой из школы.

«Мальчик тихий, старательный, но к учению малоспособен. Особенно слаб по арифметике».

Я сидел над этой строчкой дольше, чем над всеми остальными.

Потому что мальчик, которому она была написана, погиб четырнадцатого июня сорок третьего года под Понырями, во время получасового обстрела, и никто в мире, кроме меня, про это не знал.

А я три с половиной года жил его жизнью, писал письма его матери и сестре, получил за него медаль и звание, и на всех бумагах стояла его фамилия.

И вот теперь я держал в руках всё, что от него осталось: восемь строчек из школы и справку военкомата.

Я не сжёг их и в этот раз.

Я сложил эти сто восемь листов в клеёнку, перевязал шпагатом и убрал на самое дно вещмешка, под всё остальное.

***

Двадцать шестого я поехал прощаться с группой.

Не со всеми — шестьдесят четыре человека собрать было невозможно, — а с теми, кто работал постоянно: с Поляковой, Ерёменко, Никитой Фомичом и двумя подростками.

Собрались в том же холодном бараке, где я в январе сорок шестого провёл первое занятие и где через сорок минут спали трое.

Я объяснил, куда еду и почему.

Не всё — про Хальма я не сказал ни слова, но про то, что буду работать с пленными и собирать сведения об объектах.

Полякова выслушала и подняла руку, как на уроке.

— Пётр Никифорович, а можно вопрос неудобный?

— Спрашивайте, чего уж.

— Вы с ними разговаривать будете?

— Буду разговаривать.

— С теми самыми, кто это ставил?

Я поглядел на неё.

— С теми самыми.

В бараке стало тихо.

— И как же вы будете? — не выдержал Ерёменко.

— Не знаю, — ответил я честно. — Я про это третий день думаю и ответа не нашёл.

Никита Фомич завозился и застучал палками.

— А чего тут думать-то, — произнес он.

Все обернулись.

— Никита Фомич, а вы бы смогли? — не выдержала Полякова.

Он поглядел на меня.

— Я, сынок, шестьдесят второй год живу, — ответил он. — У меня в деревне Митрохина без ноги и мальчонка Пелагеин в земле.

Он помолчал.

— А ты меня спрашиваешь, смог бы я с ним разговаривать.

— Спрашиваю, Никита Фомич.

— Смог бы, — он тяжело вздохнул. — Ежели он мне скажет, где остальное лежит.

Он постучал палкой в пол.

— Я, сынок, с ним про мальчонку разговаривать не стал бы. Мне мальчонку не вернуть. А вот про то, где у него ещё чего припрятано, я с ним хоть год просижу.

Он поглядел на меня.

— И ты так делай. Не про то говори, чего было. А про то, чего лежит.

Я потом эту его фразу вспоминал каждый раз перед тем, как войти в ту комнату.

Все два года.

***

Выехал я двадцать восьмого января.

В Минск прибыл первого февраля, к вечеру, и в управлении меня принял человек, которого я не ждал совершенно.

Астахов.

Он к тому времени был уже полковником и год как служил тут, чего мне не писал ни разу.

— Ковалёв, садитесь.

— Здравия желаю, товарищ полковник.

— Тетради при вас?

Я поглядел на него.

— При мне, все три.

— Ну и хорошо, — кивнул он. — Они вам понадобятся.

Он придвинул ко мне папку.

— Читайте, — придвинул он папку. — Это он написал за ноябрь и декабрь.

Я развязал тесёмки.

Внутри лежало сто сорок с чем-то листов, исписанных мелким ровным почерком.

По-русски.

Печатными буквами, без единой помарки, с нумерацией и с чертежами на полях — аккуратными, выполненными от руки, с проставленными размерами.

Я перевернул первый лист.

«ОБЪЕКТ 1. Мост через реку [название по-немецки, транскрипция], Орловская область, район не помню точно. Сентябрь 1943.

Три заряда в опорах. Взрыватели химические, срок шесть месяцев. Заряды сняты мною лично в октябре 1943 по приказу.

Причина снятия: изменение планов командования.

Объект считаю безопасным».

Я поднял голову.

— Товарищ полковник, это тот самый мост, — выговорил я.

— Какой такой мост?

— Который я смотрел в феврале сорок шестого, — ответил я. — Под Орлом. Там были три гнезда, пустые, и третье вырублено грубее.

Астахов кивнул.

— Читайте дальше, — велел он.

Прежде чем читать, я задал Астахову вопрос, который держал в голове от самого Орла.

— Товарищ полковник, а как его взяли?

— В апреле сорок пятого, в Восточной Пруссии, — ответил он. — Обыкновенно: колонна отходила, попала под удар, он оказался в числе тех, кого собрали на дороге.

— И восемнадцать месяцев не выявляли?

— Не выявляли, — подтвердил Астахов. — Он записался унтер-офицером и работал на кирпичном.

Я поглядел на него.

— Товарищ полковник, а если бы его не опознали?

— Тогда бы он через год-два уехал домой по репатриации, — ответил Астахов. — И сто семнадцать объектов остались бы в земле навсегда.

Он придвинул мне папку.

— Вот вам и цена одного опознания.

— А кто опознал?

— Другой пленный, — он поглядел в бумаги. — Обер-фельдфебель из той же группы армий. Он Хальма видел дважды в сорок третьем и запомнил, потому что тот приезжал и всех строил.

Астахов усмехнулся.

— Обычная история. Человека выдало не то, что он делал, а то, что его не любили.

Я прочитал сто сорок листов за четыре часа.

К концу у меня дрожали руки.

Не от волнения — от того, что я держал в руках ответ на всё, что собирал три с половиной года: точные привязки, размеры, сроки, схемы креплений, объяснения, зачем каждый заряд поставлен именно там.

И на восемьдесят первом листе я нашёл хутор.

«ОБЪЕКТ 44. Хутор без названия, Орловская область, дорога через населённый пункт. Март 1943.

Погреб кирпичный под полотном дороги, длина 15 шагов. Заряд основной — весь объём погреба. Механизм нажимной, расчёт на осевую нагрузку свыше 2 тонн.

По обочинам 16 зарядов противопехотных, из них 9 на растяжках. Каждый четвёртый поставлен зеркально.

Отдельно: 1 заряд между двумя телами русских сапёров, погибших ранее. Расчёт на группу выноса.

Объект вскрыт русскими в июне 1943. Считаю потерянным».

Я поглядел на эту страницу.

«Считаю потерянным».

Ни слова о том, что он потратил на этот хутор девять дней. Ни слова про семерых погибших. Ни слова про надпись углём на своде.

Просто инженерный отчёт по объекту, который не сработал.

— Товарищ полковник.

— Слушаю.

— Он про надписи не пишет.

— Не пишет ни строчки, — подтвердил Астахов. — Ни про одну. Я специально проверял.

— А почему не пишет?

Он поглядел на меня.

— А вот это, Ковалёв, вы у него сами и спросите.

Он забрал папку.

— Завтра в девять вас отвезут в лагерь, — распорядился он. — Вы будете работать с ним ежедневно, кроме воскресений, по четыре часа.

— В каком качестве, товарищ полковник? — уточнил я.

— Официально — консультант группы, — ответил Астахов. — А по существу — вы единственный человек в управлении, который понимает, о чём он пишет.

Он застегнул папку и поглядел на меня поверх неё.

— И вот вам последнее, Ковалёв, а дальше решайте сами.

— Слушаю вас.

— Он не знает, кто к нему придёт, — обронил Астахов. — Ему сказали только, что будет специалист.

Он помолчал.

— Так что у вас есть выбор. Вы можете назваться консультантом управления и работать с ним три года, и он никогда не узнает.

— А какой второй вариант?

— А второй вы уже выбрали, — ответил он. — Я по вашему лицу вижу.

***

Ночевал я в общежитии управления, в комнате на четверых, и не спал ни минуты.

Лежал, глядел в потолок и в сотый раз прокручивал то, что собирался сказать.

За три с половиной года у меня накопилось к этому человеку столько вопросов, что я их однажды выписал в тетрадь и сбился на сороковом.

Зачем надписи. Почему каждая четвёртая зеркально. Как он выбирал места. Считал ли он людей. Знает ли, сколько погибло. Помнит ли хутор. Помнит ли Орёл.

И один вопрос, который я в тетрадь не записал, потому что стыдился.

Помнит ли он вообще, что у него был противник.

Потому что за три с половиной года я про него думал каждый день, а он про меня, скорее всего, не думал ни разу.

Он оставил три надписи не мне.

Он оставил их в пустоту — так, как человек пишет на стене, зная, что кто-нибудь когда-нибудь прочтёт, и не зная, кто именно и через сколько лет.

И то, что прочёл именно я, было чистой случайностью.

В четвёртом часу я встал и вышел на улицу.

Стояла ясная морозная ночь, над Минском висели звёзды, и город лежал разбитый — не так, как Орёл, а хуже: Минск разрушили почти целиком, и в сорок седьмом году он ещё стоял в руинах, среди которых жили люди.

Я стоял на крыльце и глядел на эти руины.

И думал не про Хальма.

Я думал про то, что где-то под этими развалинами, в подвалах, в котельных, в трубах и в дымоходах, лежит то, чего мы не нашли.

И что человек, который может сказать, где именно, сидит в двадцати километрах отсюда, в комнате при канцелярии лагеря номер сто шестьдесят восемь, и пишет по-русски печатными буквами.

***

Утром за мной пришла машина.

Полуторка с брезентовым верхом, водитель молодой, лет двадцати, и всю дорогу он молчал, а на середине вдруг спросил:

— Товарищ младший лейтенант, а вы к немцам едете?

— К ним самым.

— А правда, что они там сами всё рассказывают?

— Правда, рассказывают.

Он покрутил головой.

— Дык чего им рассказывать-то? Их за это не помилуют.

Я поглядел на него.

— А вы бы на его месте молчали?

Он подумал.

— Дык я не знаю, — ответил он. — Я, товарищ младший лейтенант, войну не застал. Меня в сорок пятом призвали, в мае. Я как раз до эшелона доехал, а тут и кончилось.

Он поглядел на дорогу.

— Мне теперь всё время неловко, — прибавил он. — Все воевали, а я нет.

Мы проехали километра три молча.

— А сколько вам лет? — окликнул я водителя.

— Двадцать мне.

— Значит, в сорок первом было четырнадцать.

— Четырнадцать и было.

— И вы тут были, в оккупации?

Он помолчал.

— Был, а куда деваться.

— Три года?

— Три года и месяц.

Он переключил передачу.

— У меня отца в сорок втором свезли, — произнес он. — И мы с матерью три года.

Я поглядел на этого парня, которому было неловко, что он не воевал.

— Слушайте сюда, — произнес я. — Тот, к кому мы едем, три года ставил мины по деревням. Ставил так, чтоб они срабатывали через полгода, когда наши уйдут вперёд.

Он повернул голову.

— Зачем?

— Затем, чтоб на них подорвались те, кто вернётся домой.

Он молчал.

— Вот вы и были тем, кто вернётся, — договорил я. — И мать ваша. Так что считай, что воевали. Просто вам про это никто не сказал.

Он ничего не ответил.

А на въезде в лагерь, когда мы уже стояли у ворот и ждали, покамест поднимут шлагбаум, он вдруг обронил:

— Товарищ младший лейтенант.

— Что?

— Вы у него спросите одну вещь.

Я поглядел на него.

— Спрашивайте.

— Спросите, — выговорил он, глядя перед собой. — Он про нас думал вообще? Про тех, кто вернётся.

Шлагбаум поднялся, и полуторка тронулась.

Я записал этот вопрос в тетрадь и задал его Хальму через полтора года.

Ответ его я приведу в своё время.

Скажу только, что за все два года работы с ним это был единственный раз, когда он попросил меня повторить вопрос дважды.

Глава 1

Лагерь номер сто шестьдесят восемь стоял в двенадцати километрах от Минска, на месте бывшего торфоразработочного посёлка, и первое, что я про него понял, — он был построен аккуратно.

Не хорошо. Аккуратно.

Ряды бараков стояли по линейке, дорожки между ними были отсыпаны шлаком, у каждого барака торчала жердь с номером, и номера были выведены одной рукой, одним трафаретом, белым по чёрному. За полтора года пленные вылизали эту территорию так, как не вылизывали ни один гарнизон, где мне приходилось стоять.

Люди, которые всю жизнь всё делали по норме, и в плену продолжали делать по норме.

Меня довели до канцелярии, проверили предписание два раза — на воротах и на крыльце, — и дежурный лейтенант с нашивкой конвойных войск повёл меня по коридору.

— Товарищ младший лейтенант, инструкцию вам зачитывать?

— Зачитайте, если положено, — отозвался я.

Он остановился у двери.

— Положено. Один: в помещении с ним не оставлять ничего колющего и режущего. Два: бумагу выносить всю, включая черновики. Три: на личные темы не переходить.

— На личные темы — это как понимать? — не понял я.

Лейтенант поглядел на меня без всякого выражения.

— Это понимать так, что он вам про Германию, а вы ему про Советский Союз. Обоюдно не рекомендуется.

Он отпер дверь.

Комната была три на четыре.

Нары у левой стены, застеленные по-солдатски. Печка в углу, топленая. Стол у окна — обыкновенный канцелярский с двумя тумбами, явно принесённый из управления лагеря. Две табуретки.

И бумага.

Она лежала стопками по всему столу: исписанные листы слева, чистые справа, посередине разложенные чертежи. Стопка слева была толщиной сантиметров в шесть, и её края были подбиты так ровно, будто её обрезали на резаке.

Я вошёл в девять двадцать.

Он сидел за столом спиной к двери и не обернулся.

Не из невежливости — он не услышал, потому что писал, и писал, судя по всему, давно: правая рука была в чернилах до второй фаланги, хотя писал он карандашом.

Сопровождающий сержант кашлянул.

— Хальм. К вам.

Он положил карандаш, аккуратно, вдоль края листа.

И поднялся.

Я его увидел в первый раз в жизни.

Мне сорок один год — так было записано у него в карточке, и на вид ему было именно сорок один, ни больше ни меньше, что в лагере встречается редко.

Худой. Очень прямой. Лицо узкое, с длинным подбородком, и глубокие складки от носа к углам рта. Волосы седые на висках и коротко остриженные. Руки крупные, с широкими ладонями — руки человека, который всю жизнь что-то делал руками, а не только чертил.

И очки.

В простой железной оправе, дужка примотана ниткой.

Я на эту дужку поглядел и почувствовал что-то очень нехорошее, потому что ровно такие очки были у Северцева в июле сорок третьего.

— Гауптман Хальм, — представился он.

Голос оказался ниже, чем я ждал, и говорил он медленно, тщательно выговаривая окончания.

— Младший лейтенант Ковалёв, инженерное управление.

Он кивнул.

И тут же, без всякого перехода, сел обратно и придвинул ко мне лист.

— Товарищ младший лейтенант, я имею вопрос. Он срочный.

Вот так это и началось.

Ни здравствуйте, ни разглядывания, ни того напряжения, которого я ждал три с половиной года.

Человек, которого я искал две войны, увидел специалиста и немедленно перешёл к делу.

— Слушаю ваш вопрос, если он срочный.

Он показал на лист.

— Объект восемьдесят три. Водокачка при станции, Гомельская область. Я поставил там два заряда в декабре сорок третьего.

— Оба описали или один? — уточнил я.

— Один я описал точно. Второй я помню, но не помню место.

Он поглядел на меня.

— Я имею предположение. Оно требует проверки, но я не могу проверить, потому что не выхожу отсюда.

— Какое у вас предположение? — поинтересовался я.

Хальм положил ладонь на чертёж.

— Я всегда ставил второй заряд там, где будет стоять человек, который нашёл первый.

Я поглядел на него.

Он это выговорил спокойно, буднично, тем самым тоном, каким на совещаниях докладывают о нормах расхода горючего.

— Поясните мне это подробнее, — попросил я.

— Это просто, — он взял карандаш. — Человек находит первый заряд. Он его снимает. После этого он встаёт и делает два или три шага назад.

Он нарисовал на чертеже кружок.

— Он отходит, чтобы поглядеть. Всегда. Это не решение, это движение тела.

Он поставил крестик.

— И там я ставил второй.

Я стоял у стола и держался за спинку табурета.

Потому что он только что описал мне то, что я понял на хуторе в июне сорок третьего и записал в тетрадь через полгода.

Только я это понял, разбирая его работу.

А он это придумал.

— Товарищ младший лейтенант, вы сядьте, — он отодвинул чернильницу к краю. — Стоя неудобно смотреть чертёж.

Я сел.

Мы проработали до часу дня.

За четыре часа я не задал ему ни одного вопроса из тех сорока, которые накопил за три с половиной года.

Мы разбирали объекты.

Он рассказывал, я записывал и уточнял, и уже через час я поймал себя на том, что работаю с ним так же, как работал с Северцевым или с Гольцманом.

То есть как с коллегой.

Это было отвратительно, и я ничего не мог с этим сделать.

Потому что человек напротив меня знал своё дело лучше всех, кого я встречал за обе жизни, — и он говорил именно про дело, и его надо было слушать.

Работал он по определённому порядку, и порядок этот я разглядел к третьему объекту.

Сперва он вспоминал дорогу. Не объект, а дорогу к нему: откуда ехали, где стояла машина, сколько шли пешком и что было по сторонам. Потом от машины он шёл к зданию — вслух, шагами, будто снова его проходил. И только дойдя, начинал говорить про заряд.

На объекте восемьдесят четыре он застрял.

— Здесь я имею разрыв, — он постучал карандашом по листу. — Я помню дом и помню подвал. Дороги не помню.

— Тогда зайдём с другой стороны. Что вы видели из окна подвала?

Хальм поднял голову.

— Подвал не имеет окна.

— А отдушину?

Он молчал секунд десять.

— Отдушина имеется, — выговорил он. — Она выходит на север, и в неё видно кирпичную стену в семи метрах.

— Что за стена?

— Глухая. Без окон. Высокая.

Я придвинул к себе карту Гомельской области, которую привёз из управления.

— Тогда это не жилой дом напротив. Глухая высокая стена без окон в семи метрах — это или склад, или элеватор, или церковь с забелённой стороной.

Хальм снял очки.

И надел обратно.

— Элеватор, — он взял карандаш. — Я помню запах. В подвале пахло зерном, которое лежало и грелось.

Он записал строку и подчеркнул её дважды.

— Товарищ младший лейтенант, это мне даёт ещё три объекта. Они все стояли у элеваторов, и я их путал между собой.

Вот так это и пошло.

Он помнил конструкцию, но плохо помнил географию. Я географию не помнил вовсе — зато знал, как разговаривать с человеком, который что-то помнит, но не знает, что именно.

Через два часа выяснилось, что мы, если говорить честно, работали в паре.

***

В час дня сержант принёс обед.

Хальм отодвинул бумаги, освободив половину стола, и придвинул ко мне свою миску.

— Товарищ младший лейтенант, вы будете со мной обедать?

— У меня свой паёк, ешьте спокойно.

— Тогда я буду один, — он взял ложку и стал есть.

Ел он так же, как работал: не спеша, полностью, не оставляя ничего.

И вот тут я задал первый вопрос не по делу.

— Хальм, вы русский где выучили?

Он положил ложку.

— Я выучил его здесь, в этом лагере.

— За полтора года, что ли?

— За семнадцать месяцев, — уточнил он. — Я имел словарь и имел время.

Он подумал.

— Время в лагере — это единственное, чего много.

— Зачем вам было его учить?

Он поглядел на меня.

И я в первый раз увидел, что он умеет делать паузу не потому, что подбирает слово.

— Я вам это объясню, — выговорил он наконец. — Но не сегодня.

Он взял ложку обратно.

— Сегодня мы имеем объект восемьдесят три и объект восемьдесят четыре. Их надо закончить.

***

Работали мы так шесть дней.

Каждое утро я приезжал в девять, каждый день мы разбирали от двух до пяти объектов, и каждый день я не задавал ни одного личного вопроса, потому что он их не задавал тоже.

Жил я эти шесть дней в Минске, в общежитии управления на Советской, в комнате на четверых, из которых трое были в командировках. Возвращался в восьмом часу, грел чайник, садился и переписывал набело всё, что записал за день.

К пятому дню я стал замечать за собой странное.

Я ждал утра.

Не потому, что мне было приятно туда ехать. А потому, что мы не закончили объект семьдесят девять, и я весь вечер думал, как его додавить, и придумал, и хотел проверить.

Это и есть самое поганое, что бывает с человеком.

Ты можешь ненавидеть кого угодно и сколько угодно. Но если вы вдвоём стоите над задачей и задача не выходит, то через неделю у вас на двоих будет общее дело, хочешь ты этого или нет.

На пятый вечер в комнату вернулся хозяин третьей койки.

Старший лейтенант Дорохов, сапёр, тридцати двух лет, приехал из Молодечно с чемоданом и мокрой шинелью и первым делом развесил её над печкой так, чтобы она заняла всю печку.

— Ты кто такой будешь? — окликнул он.

— Ковалёв, инженерное управление, в командировке, — отозвался я.

— Надолго? — он выкрутил портянки прямо на пол.

— Как выйдет. Месяца на четыре.

Дорохов поглядел на мой стол, заваленный листами, и подошёл ближе.

Читать чужие бумаги в управлении не принято, но он и не читал — он поглядел на верхний лист и увидел то, что видно с двух шагов.

Немецкий почерк.

— Это откуда? — не понял он.

— Из-под Минска, — отозвался я. — Работаю с пленным по разминированию.

Он сел на свою койку и стал разуваться.

— С каким пленным? — переспросил Дорохов.

— Инженер. Ставил объекты с сорок первого по сорок четвёртый, помнит сто семнадцать штук.

Дорохов поставил сапог.

И поставил второй.

— Ковалёв, а ты сам-то воевал или в управлении всю дорогу просидел?

— Воевал, с сорок третьего, — подтвердил я.

— Где?

— Центральный, потом Первый Белорусский, — я отложил перо. — Сапёрный батальон, потом инженерный отдел армии.

Он покивал.

— Значит, воевал, — подытожил он. — Тогда я не пойму. У меня в сорок четвёртом под Слонимом взвод на его железках лёг. Девять человек. И ты мне говоришь, что сидишь с таким в одной комнате и записываешь за ним чертежи.

— Сижу и записываю, — не стал я спорить.

— И как оно тебе? — поинтересовался он.

Я подумал, сколько правды ему сказать.

И сказал всю.

— Отвратительно, — признал я. — Он знает своё дело лучше меня. Он мне за шесть дней дал то, до чего наши группы шли бы три года и легли бы на этом человек сорок.

Дорохов молчал.

— Дорохов, ты слушай дальше, — продолжил я. — Я не про то, хороший он или плохой. Он не хороший. Я про то, что железки в земле лежат до сих пор, и они не знают, кто их ставил, и им всё равно, кто на них наступит.

— А ему не всё равно? — не понял Дорохов.

— Ему тоже всё равно, — я закрыл тетрадь. — Он не кается. Он уточняет.

Дорохов лёг и закинул руки за голову.

Минуты две мы молчали.

— Ковалёв, — окликнул он наконец из темноты. — Ты с ним поаккуратнее.

— В каком смысле поаккуратнее? — не понял я.

— В прямом, — он повернулся к стене. — Человек, который семнадцать месяцев учил русский язык в лагере, учил его не для того, чтобы тебе про скобы рассказывать.

Я потушил лампу.

И полночи лежал и думал, что он прав, и что я это понял в первый же день, и что делать с этим всё равно нечего.

***

За шесть дней мы закрыли двадцать один объект.

Закрыли — значит, довели описание до состояния, при котором по нему могла работать выездная группа: привязка к двум постоянным ориентирам, расстояния, характер зарядов, срок постановки и способ крепления.

Двадцать один объект за шесть дней.

Астахов, когда я привёз ему первую пачку, читал её вечер и на другой день вызвал меня.

— Ковалёв, вы понимаете, что это за темп?

— Понимаю, товарищ полковник, — подтвердил я.

— Уверены? — не принял он возражения. — Я в декабре ставил план: один объект в два дня. Вы делаете три с половиной в день.

Он постучал по стопке.

— Как вы это делаете?

Я подумал, как это объяснить.

— Он не рассказывает, товарищ полковник. Он докладывает.

— А разница в чём?

— Разница в том, что рассказывают по памяти, а докладывают по системе, — я показал на верхний лист. — У него всё разложено. Он два месяца сидел и раскладывал.

Астахов побарабанил по столу.

— Хорошо. А вы там что делаете?

— Я задаю вопросы, которые ему в голову не приходят.

— Приведите пример, — потребовал он.

Я вытянул из стопки нужный лист.

— Вот, объект семьдесят четвёртый. Он описал заряд под настилом моста. Я спросил: а чем крепили? Он ответил: скобами. Я спросил: сколько скоб?

— И что он на это? — не понял Астахов.

— Четыре скобы, — я поглядел на Астахова. — Всегда четыре. Это норматив, которому его учили в тридцать девятом.

— И дальше?

— А дальше вот что, товарищ полковник. Теперь наши выездные группы знают, что искать четыре скобы. И если они нашли три — значит, четвёртая где-то есть, и заряд там не один.

Он поглядел на меня.

— Он вам это сам сказал? — переспросил он.

— Он мне этого не говорил, — поправил я. — Он сказал «скобами». Про четыре я спросил.

Астахов долго молчал.

Потом встал, прошёл к сейфу, отпер его и достал синюю папку — не ту, в которой лежала моя переписка, а другую, потоньше.

— Ковалёв, вот теперь я понимаю, зачем вас сюда вызвали.

Он положил папку на стол, но не открыл.

— И раз понимаю, то скажу одну вещь заранее. Вы там не в гостях. Вы с ним работаете, пока он даёт объекты. Как только кончатся объекты — работа кончится тоже, и его повезут дальше, и не ко мне.

— Куда дальше? — насторожился я.

— Туда, где решают не сапёры, — он запер сейф. — Идите, у вас поезд в шесть сорок.

***

На седьмой день Хальм задал вопрос.

Мы кончили объект, я собирал бумаги, и он вдруг обронил, не поднимая головы:

— Товарищ младший лейтенант, вы работали в поле?

Я замер.

— Работал, и не месяц, — признал я.

— Долго это сколько? — уточнил он.

— Три года без малого.

Он поглядел на меня.

— Я примерно так и полагал.

— На каком основании? — не понял я.

— Потому что вы спрашиваете правильно, — он положил карандаш вдоль края листа. — Штабной офицер спрашивает: сколько, где, когда. Вы спрашиваете: чем крепили и сколько скоб.

Он снял очки и стал протирать их рукавом.

— Такие вопросы задаёт человек, который сам снимал.

Я сидел и молчал.

— На каком фронте вы были? — уточнил он.

Вот тут я мог соврать.

Я мог назвать любой фронт, любую армию и любой год, и он бы никогда не проверил.

— Центральный фронт, с июня сорок третьего.

Он надел очки.

И поглядел на меня очень внимательно.

— Это Курская дуга.

— Верно, — спокойно ответил я.

Он положил руки на стол.

— Тогда я имею к вам вопрос, и он не по объектам.

— Спрашивайте, раз он у вас есть, — разрешил я.

— Хутор, — выговорил он. — Орловская область, дорога через населённый пункт. Март сорок третьего года. Объект сорок четыре в моём списке.

Он поглядел на меня.

— Вы там были?

Я сидел напротив него, за канцелярским столом, в комнате три на четыре, и понимал, что сейчас всё решится.

И решил не врать.

За три с половиной года я наврал столько, что мне хватило бы на две жизни, — но это была ложь по необходимости, и я её нёс.

А тут необходимости не было.

— Я там был, — признал я.

Хальм не пошевелился.

— В каком месяце? — не отпустил он.

— В июне сорок третьего. Мы его вскрывали четверо суток.

— Кто вскрывал? — спросил он.

— Отделение старшины Панкратова. Четыре человека. Потом приехал капитан Северцев из инженерного отдела армии.

Он молчал.

— Вход был со двора третьей избы, — договорил я. — Заваленный обгорелым срубом. Мы его нашли по нижнему бревну — оно было пилено, а пожар пилой не работает.

И вот тут он снял очки.

Снял и положил на стол, и я в первый раз увидел его лицо без них.

Глаза оказались светлые, серые, с покрасневшими от письма веками.

— Три дня, — выговорил он.

— Что у вас три дня? — не понял я.

— Я это бревно пилил три дня. Не потому, что долго пилить. Потому что я искал, как положить его так, чтобы оно выглядело упавшим.

Он поглядел на свои руки.

— Я его перекладывал одиннадцать раз.

Мы сидели молча.

За окном шёл снег, в печке потрескивало, и за стеной, в канцелярии, кто-то стучал на машинке.

— Вы его всё-таки нашли, — подытожил Хальм.

— Нашли на четвёртые сутки, — подтвердил я.

— По спилу?

— По спилу, гауптман.

Он покивал — медленно, несколько раз, как кивают собственным мыслям.

— Значит, я его положил неправильно, — заключил он.

И вот на этой фразе меня накрыло по-настоящему.

Потому что он не сказал «значит, вы были внимательны». Он не сказал «значит, мне не повезло».

Он сказал: значит, я сделал плохо.

Через одиннадцать перекладываний, через четыре года, через плен и через сто семнадцать объектов — он всё ещё считал это своей профессиональной ошибкой.

— Хальм, я вас спрошу теперь, — начал я.

— Слушаю вас.

— Вы понимаете, что было в том погребе?

— Понимаю совершенно точно, — подтвердил он. — Пятнадцать шагов дороги и весь объём. Расчёт на артиллерийскую колонну.

— Сто восемнадцатый гаубичный полк, — сообщил я. — Он должен был пройти первого июля.

Хальм поглядел на меня.

— И он прошёл? — не отпустил он.

— Прошёл, — подтвердил я. — Второго числа, после того как мы разгрузили погреб.

Он молчал.

— Хальм, а сколько бы там погибло?

Он ответил не сразу.

И ответил не так, как я ждал.

— Я не считал в людях, — он выровнял стопку листов. — Я считал в тоннах и в метрах.

Он надел очки.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясню, и вы решите, верить или нет.

— Объясняйте, я слушаю, — согласился я.

— Я инженер, — выговорил он. — Я строил мосты одиннадцать лет, с тридцатого по сорок первый. Потом меня призвали и приказали делать обратное.

Он положил ладони на стол.

— И я стал делать обратное. Тем же способом, каким строил: расчёт, чертёж, проверка, исполнение.

Он поглядел на меня.

— В расчёте нет людей. В расчёте есть нагрузка на ось.

— И вы про это не думали все два года? — переспросил я.

— Я про это не думал, — подтвердил он. — Пятнадцать месяцев.

— А на шестнадцатом? — не отпустил я.

Хальм помолчал.

— А потом был Орёл.

Я поднял голову.

— Что было в Орле? — насторожился я.

Он поглядел в окно.

— В Орле я работал двадцать один день, — выговорил он. — Двенадцать кварталов. Это был самый большой мой объект и самый лучший.

Он повернулся ко мне.

— И там я в первый раз поставил заряд в помещение, где стояли детские кровати.

В комнате стало очень тихо.

— Что это было за здание? — уточнил я.

— Школа, — подтвердил он. — Она была занята под госпиталь при немцах. Я ставил в марте, и там стояли кровати, и они были короткие.

Он снял очки снова.

— Я тогда посчитал, что госпиталь останется госпиталем. Это был правильный расчёт: русские всегда занимают под госпитали те же здания, что и мы, потому что там уже есть вода и печи.

Он поглядел на свои руки.

— И я поставил заряд с механизмом на шесть месяцев.

Он положил очки.

— А потом вышел на улицу и стоял там час.

Я не перебивал.

— Товарищ младший лейтенант, я вам скажу то, чего не говорил на допросах, — он поглядел на меня. — Потому что на допросах спрашивают, что я делал. А вы спросили, о чём я думал.

Он помолчал.

— Я стоял на улице и понимал, что расчёт правильный. И что через шесть месяцев в этом здании будут лежать раненые. И что я это знаю заранее.

Он помолчал ещё.

— И я не пошёл обратно и не снял.

— Почему не пошли? — не понял я.

— Потому что снять его мог только я, а меня видели, когда я входил.

Он выговорил это ровно, без нажима.

— Если бы я вошёл второй раз, это был бы саботаж. За саботаж в марте сорок третьего года у нас вешали на месте, без суда, и я это видел два раза в Брянске.

Он положил руки на колени.

— Я выбрал себя. Вот и весь ответ, и он вам не понравится.

***

Мы просидели в этой комнате до четырёх часов.

Сержант дважды заглядывал и дважды уходил.

— Хальм, я вам должен кое-что сообщить, — начал я наконец. — Тот заряд нашли.

Он поднял голову.

— Заряд в школе нашли? — переспросил он.

— Заряд в школе. В октябре сорок третьего, при повторной проверке. Механизм работал исправно.

Я поглядел на него.

— С первого октября там был госпиталь на сто двадцать коек.

Хальм закрыл глаза.

И просидел так секунд десять.

— Кто именно его нашёл? — спросил он.

— Старшина Гурьев. Двести тридцать пятый отдельный сапёрный батальон.

— Он остался жив? — насторожился Хальм.

— Он жив и сейчас, — подтвердил я. — Служит в Бобруйске.

Хальм открыл глаза.

— Товарищ младший лейтенант, я имею просьбу.

— Говорите вашу просьбу, — разрешил я.

— Я хочу знать, как он его нашёл.

Я поглядел на него.

И вдруг понял, что он спрашивает не из любопытства и не из уязвлённости.

Он спрашивает как инженер, чья конструкция не выдержала: где именно она не выдержала и почему.

— Он ходил по списку, — сообщил я.

— По какому это списку? — переспросил Хальм.

— По списку зданий, которые проверили в августе и признали чистыми, — я поглядел на него. — Он ходил по нему второй месяц и проверял по второму разу.

Хальм молчал.

— Зачем нужен был второй раз? — не понял он.

— Затем, что первый раз мог быть неполный.

— Кто ему это велел? — уточнил он.

Вот тут я и подошёл к тому, ради чего, наверное, вся эта работа и затевалась.

— Велел ему я, — признал я.

Он поглядел на меня.

Долго — секунд пять или шесть, не мигая, тем самым взглядом, каким глядят на чертёж, в котором что-то не сходится.

А потом снял очки, положил их на стол и выговорил по-немецки одно слово, которого я не понял.

— Что вы сейчас сказали? — не понял я.

Он подобрал русское слово.

— Крот, — выговорил он. — У нас в отделе вас так называли между собой.

— С какого времени? — уточнил я.

— С осени сорок третьего, — он положил ладонь на стопку. — Сперва это была шутка. Потом это перестало быть шуткой, потому что вы стали попадаться в сводках.

Мы сидели друг напротив друга в комнате три на четыре, в лагере номер сто шестьдесят восемь, в феврале сорок седьмого года.

Три года и восемь месяцев.

— Здравствуйте, Крот, — выговорил он наконец.

И протянул руку.

Я на эту руку поглядел.

И вот тут во мне поднялось всё сразу: хутор, семеро погибших до нас, скат под деревней, Гриша Соловьёв, Ерохин, Кузьмин, Гладышев, Панкратов с осколком в груди, Митрохина без ноги, мальчик на колодезном срубе в Гнилицах и Витька Соломин, погибший в марте сорок шестого от того, что показывал приятелям.

Всё это лежало между нами.

И я не подал руки.

Хальм подержал свою секунды три и убрал.

Он не обиделся — я это видел совершенно точно.

Он кивнул, будто получил ответ на вопрос, который сам себе задавал, и придвинул к себе чертёж.

— Тогда работаем дальше, — он обмакнул перо. — Объект восемьдесят пять.

***

В восьмом часу я вернулся в общежитие, поставил чайник и сел переписывать набело.

И не переписал ни строчки.

Я просидел над чистым листом до полуночи, и все эти четыре часа думал про одну вещь, которую он выговорил вечером, уже на пороге, когда сержант меня уводил.

Он тогда поднял голову от бумаг и обронил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Товарищ младший лейтенант, я вам должен предупредить. В моём списке сто семнадцать объектов. Мы закончим их за четыре месяца.

— И что тогда? — насторожился я.

— И тогда останется то, чего нет в списке.

Он снял очки.

— Мы ставили не только по объектам. Была ещё одна программа, и её вели не мы, и я про неё знаю мало.

— Насколько мало? — уточнил я.

— Я знаю, что она была, — выговорил он. — Я знаю город, в котором сидел их отдел. И я знаю фамилию одного человека оттуда.

Он поглядел на меня поверх стопки.

— Но я вам её не назову, пока не решу, что вы с ней сделаете.

***

Сержант тронул меня за локоть, и я вышел в коридор.

А на улице, уже у ворот, пока дежурный листал мой пропуск, я стоял под фонарём, глядел на ровные ряды бараков с трафаретными номерами и считал в уме.

Сто семнадцать объектов. Четыре месяца. Потом — то, чего нет в списке.

Он мог это выговорить в любой из шести прошедших дней. Мог выговорить в первый.

Он выговорил это в тот самый вечер, когда я не подал ему руки.

И это тоже был расчёт, такой же чистый, как всё, что он делал одиннадцать лет на мостах и три года на дорогах: человек подвёл первый заряд, человек его снял и сделал два шага назад, чтобы поглядеть.

А там уже стоял второй, поставленный заранее и с запасом.

Глава 2

Астахов вызвал меня двадцать шестого февраля, в среду, и начал не с приветствия.

— Ковалёв, у вас двадцать один объект. Мне их надо проверить.

— Проверяйте, товарищ полковник, кто же вам мешает.

— Я не про бумагу, — ответил он. — Бумага хорошая, я её читал. Я про то, что бумага лежит в папке, а объект лежит в земле, и между ними может быть километр.

Он подвинул ко мне карту.

— Управление мне не верит. Мне звонили из Москвы и спросили, на каком основании я принимаю показания военнопленного как оперативные данные. Я ответил: на основании того, что их проверяет специалист.

— И что вам ответили в Москве?

— В Москве попросили фамилию специалиста, — он поглядел на меня поверх очков. — Я её назвал. Теперь езжайте и оправдывайте.

Я поглядел на карту.

Гомельская область, узловая станция, водокачка при ней. Объект восемьдесят три — тот самый, с которого Хальм начал в первый день.

— Товарищ полковник, у меня один вопрос, — произнес я.

— Спрашивайте, пока я добрый.

— Почему именно восемьдесят третий? — уточнил я. — У меня есть объекты проще и ближе.

Астахов снял очки и стал их протирать, и я уже знал, что это значит: он собирается выговорить то, что ему самому не нравится.

— Потому что восемьдесят третий — единственный, где он назвал место второго заряда не по памяти, а по своему правилу, — он отложил платок. — Если правило верное, у нас в руках метод. Если правило — выдумка сидящего человека, который хочет быть полезным, то у нас в руках двадцать один лист туалетной бумаги и я в Москве под трибуналом.

Он надел очки.

— Вот поэтому восемьдесят третий.

***

Выезжали двадцать восьмого, с товарным, в четыре пятнадцать утра.

Выездная группа была из Гомельского отряда: капитан Дрозд, сорока лет, с фанерным чемоданчиком и лицом человека, которому за полтора года мирного времени надоели все на свете; сержант Никифоров, здоровенный, молчаливый, двадцати шести лет, с руками, на которых не хватало половины левого мизинца; и лейтенант Сазонов.

Про Сазонова надо отдельно.

Двадцать два года. Выпуск сорок шестого года, училище в Костроме. Чистая шинель, чистые сапоги, планшет с целлулоидом, в планшете — карандаши трёх цветов.

На войне он не был ни дня.

И это было видно не по шинели, а по тому, как он садился в вагон: первым, бодро, забросив ногу.

Человек, который три года проходил на минах, в любой вагон садится последним и с той стороны, откуда видно, что делается снаружи.

— Товарищ младший лейтенант, а вы из управления? — окликнул он меня, едва мы тронулись.

— Из управления, инженерный отдел.

— А правда, что у вас там немец сидит? — поинтересовался он.

Дрозд поднял голову от чемоданчика.

— Сазонов, заткнись, — распорядился он. — Это раз. И два: чему тебя в Костроме учили про разговоры в вагоне?

Сазонов покраснел и замолчал.

Через час он не выдержал и придвинулся ко мне ближе.

— Товарищ младший лейтенант, а можно я хоть описание почитаю?

Я дал ему лист.

Он читал его сорок минут, шевеля губами, и два раза что-то отчёркивал ногтем.

— Здорово написано, — подытожил он наконец. — Как в учебнике.

— Вот это ты зря, — не согласился я.

— Почему зря? — не понял он.

— Потому что учебник пишут, чтобы человек понял. А это писал человек, который хотел, чтобы ты не понял.

Сазонов поглядел на меня, и я увидел, что он не понимает вообще.

— Так он же сам всё рассказал, — не понял Сазонов.

— Он рассказал то, что помнит, — я забрал лист. — А помнит он как ставил. Сазонов, ты сообрази: человек четыре года ставил так, чтобы никто не нашёл. Ты думаешь, за два месяца в лагере у него голова перевернулась?

Дрозд хмыкнул со своей полки.

***

Станция стояла в четырёх километрах от посёлка, и от неё осталось немного: один путь из четырёх, будка стрелочника, пакгауз без крыши и водокачка.

Водокачка стояла целая.

Кирпичная, восьмигранная, метров двенадцати высотой, с железной лестницей снаружи и баком наверху. Немцы её не взорвали при отходе, и это само по себе должно было насторожить кого угодно.

Не взорвали — значит, собирались вернуться. Или собирались, чтобы взорвалась потом.

Начальник станции, пожилой, в форменной фуражке поверх ватника, встретил нас у путей.

— Это вы по водокачке?

— По водокачке, — подтвердил Дрозд. — Она у вас работает?

— С сорок пятого работает, — доложил он. — Мы её в мае запустили, насос поставили новый.

— Кто проверял её в сорок четвёртом? — уточнил Дрозд.

Начальник станции снял фуражку.

— Проверяли, как не проверять. Осенью сорок четвёртого приходили, всю облазили. И расписались в книге.

— Книгу вы нам покажете? — попросил Дрозд.

— Покажу, она в конторе лежит.

Книга нашлась, и в ней действительно стояла запись: двадцать второе октября сорок четвёртого, проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено, подпись неразборчивая.

Дрозд прочёл и передал мне.

— Ковалёв, вы понимаете, что это значит? — переспросил он.

— Понимаю, товарищ капитан.

— Это значит, что если мы сейчас что-то найдём, то человек, который расписался в сорок четвёртом, пойдёт под суд.

Я поглядел на подпись.

— Товарищ капитан, а если мы ничего не найдём — то под суд пойду я.

Дрозд поглядел на меня, и что-то в его лице сдвинулось.

— Тогда пошли работать, — распорядился он.

***

Описание Хальма было такое.

Первый заряд: подвальное помещение насосной, под лестничным маршем, в нише за кирпичной закладкой. Двадцать четыре килограмма, механизм замедления на двенадцать месяцев, поставлен девятнадцатого декабря сорок третьего года.

Двенадцать месяцев истекли в декабре сорок четвёртого.

Значит, механизм не сработал.

Это могло значить три вещи: механизм отказал; заряд отсырел; или его вообще там нет.

Второй заряд: место не указано. Вместо места — фраза, которую я записал под его диктовку и потом трижды переспрашивал, правильно ли я её понял.

«Там, где будет стоять человек, который нашёл первый».

Мы спустились в подвал вчетвером.

Подвал был сухой, что уже само по себе было плохо — в сухом подвале взрывчатка стоит десятилетиями. Лестничный марш шёл от входа вниз и направо, бетонный, широкий. Под ним — глухая стена.

Никифоров посветил фонарём.

— Товарищ капитан, кладка тут вся одинаковая, — доложил он.

Дрозд подошёл и провёл ладонью по стене.

— Одинаковая, — согласился он. — Ковалёв, глядите сами.

Я поглядел.

Кладка действительно была одна: тот же кирпич, тот же шов, та же побелка сверху. Никакого следа закладки, никакого пятна, ничего.

И вот тут я вспомнил хутор.

Не сам хутор — бревно. Нижнее бревно сруба, которое он перекладывал одиннадцать раз, чтобы оно выглядело упавшим.

Человек, который три дня укладывает бревно, не станет закладывать нишу кое-как.

— Товарищ капитан, дайте мне молоток.

Я простучал стену снизу доверху, полосами, по шву.

Кирпич отзывался одинаково — плотно, коротко, как отзывается кладка на грунте.

И на четвёртой полосе, на высоте примерно моего колена, звук сменился.

Не сильно. На полтона.

— Вот здесь у вас пустота.

Дрозд подошёл и простучал сам.

— Я никакой разницы не слышу, — не согласился он.

— Простучите два раза подряд: здесь и левее на ладонь, — я показал ему точку.

Он простучал.

И поглядел на меня.

— Есть разница, — признал он. — Чёрт бы вас взял, Ковалёв. Есть.

***

Перед тем как начать, я выгнал всех наверх.

— Товарищ капитан, работаем вдвоём, — распорядился я. — Сазонов и Никифоров наверх.

Дрозд не стал спорить, но Сазонов стал.

— Товарищ младший лейтенант, я четвёртый месяц в отряде и ни разу не работал!

— Вот и хорошо, что не работал, — не принял я возражения. — Пойдёшь наверх и будешь записывать время. Каждые десять минут — отметка.

— Зачем отметка?

— Затем, что если через сорок минут снизу перестанут отзываться, ты будешь знать, с какой минуты считать.

Он ушёл.

Разбирали мы эту закладку три с половиной часа.

Не потому, что кладка была крепкая, а потому, что за ней могло быть что угодно, включая обрывное устройство на саму кладку. Снимали по кирпичу, снизу вверх, промывая шов водой из фляги, чтобы не пылить и чтобы видеть.

Работа эта тихая и очень нудная.

Берёшь кирпич, обстукиваешь по всем четырём сторонам, заводишь под него полотно ножовки без ручки и ведёшь на себя — на полсантиметра, не больше, — и слушаешь. Если пошёл свободно, вынимаешь и кладёшь на пол, рядом, в том порядке, в каком вынул. Если где-то придержало — останавливаешься и начинаешь думать заново.

На девятом кирпиче придержало.

— Что там у вас? — окликнул Дрозд.

— Кирпич не идёт.

Я завёл полотно с другой стороны и повёл сверху.

Кирпич качнулся.

И я почувствовал, как за ним что-то шевельнулось — не звук, а вес. Будто с той стороны к кирпичу было что-то прислонено и теперь оседало.

Я убрал руки и сел на пятки.

— Ковалёв, что у вас там? — не выдержал он.

— Погодите, товарищ капитан. Там за ним что-то стоит.

Мы просидели молча секунд сорок.

Это самое паршивое время в работе — когда ты уже понял, что за стенкой что-то есть, и ещё не знаешь что, и любое твоё движение может быть последним, а стоять на месте тоже нельзя, потому что то, что осело, может оседать дальше.

— Опустите фонарь пониже, к самому полу.

Дрозд опустил фонарь к самому полу.

В шве, у нижней грани кирпича, была щель миллиметра в два.

И в этой щели я разглядел кромку доски.

Не проволоку. Не шнур. Доску.

— Товарищ капитан, там подпорка. Он ящик досками расклинил, и одна доска легла на кладку изнутри.

— Вы в этом уверены? — переспросил он.

— Не уверен, — честно признался я. — Но если это подпорка, то она сейчас оседят мне на руки, и её надо принять.

Я принял её ладонью, через тряпку, и вынул кирпич левой.

Доска легла мне в руку. Сосновая, сантиметра три толщиной, сухая, как порох.

Я передал её Дрозду, и он молча положил её на пол, а затем мы оба поглядели на неё.

Человек, который расклинивал ящик, отпилил эту доску по месту и снял с неё фаску, чтобы она не скалывалась о кирпич.

Фаска.

В нише, которую он заложил навсегда.

***

К половине второго открылась ниша.

В ней стоял ящик.

Обыкновенный немецкий ящик, деревянный, обитый по углам жестью, с трафаретной надписью и с проволочной ручкой. Он стоял ровно, дном на кирпичной подсыпке, и был подпёрт с боков двумя обрезками доски, чтобы не качался.

Я поглядел на эти две доски и почувствовал то самое, что чувствовал два дня назад в комнате три на четыре.

Человек ставил ящик так, чтобы он простоял год и не сдвинулся ни на миллиметр.

Механизм мы вскрыли за двадцать минут.

Он был мёртвый. Кислотный замедлитель, стеклянная ампула, проволока — всё на месте, и всё сработало как положено, только проволока перегорела не полностью. Она держалась на волоске металла толщиной с волос, и держалась она так, судя по кислоте, с декабря сорок четвёртого.

Два года и два месяца.

— Товарищ капитан, глядите сюда.

Дрозд поглядел и сел на корточки.

— Это что же у нас получается, — не поверил он.

— Получается, что эта водокачка два года стояла на волоске, — я вынул ампулу и положил в коробку. — И качала воду на станцию.

Никифоров за спиной у нас выругался — негромко, себе под нос.

— Сазонов! — окликнул Дрозд. — Иди сюда, гляди, чему тебя в Костроме не учили.

И вот тут оно и случилось.

Сазонов подошёл, наклонился над нишей, поглядел на механизм — и сделал то, что делает всякий нормальный человек, когда хочет разглядеть предмет целиком.

Он выпрямился.

И шагнул назад.

Раз.

Я успел на втором.

Я его взял за ремень портупеи и дёрнул на себя так, что мы оба сели на пол, и фонарь Никифорова мотнулся по потолку.

— Стоять!

Сазонов сидел и глядел на меня совершенно круглыми глазами.

— Товарищ младший лейтенант, вы чего это? — не понял он.

— Не двигайся, — я держал его за ремень. — Никифоров, свети под него. Медленно.

Никифоров посветил.

Сазонов сидел на бетонном полу подвала, и под его правым сапогом, в тридцати сантиметрах, была трещина в стяжке.

Обыкновенная трещина. Бетон везде трескается.

Только эта шла не как трескается бетон — не от угла и не от нагрузки. Она шла полукругом, радиусом примерно полтора метра, с центром у ниши.

Стяжку здесь вскрывали и заливали заново.

Дрозд поглядел на эту трещину и медленно сел на ящик из-под инструмента.

— Ковалёв, вы это видите?

— Вижу с того места, где сижу.

— Он это в бумаге написал? — не понял Дрозд.

— Он это выговорил вслух, — я отпустил ремень Сазонова. — Двадцатого февраля, в девять сорок утра, в комнате при канцелярии.

Второй заряд лежал под стяжкой, в тридцати шести сантиметрах от поверхности, в два раза больше первого.

Сорок восемь килограммов.

Без механизма замедления — на нажимном датчике, накрытом доской и залитом сверху.

Три года и два месяца этот датчик ждал, когда на него встанет человек.

И он бы дождался, если бы Сазонов сделал третий шаг.

Вытаскивали мы его до темноты, и подробности я здесь опущу, потому что в них не было смысла, а вот что было необыкновенным — так это лицо Сазонова, когда мы кончили.

Он не был испуган.

Он был как человек, которому объяснили правило, по которому устроен мир, и это правило оказалось не то, что ему говорили раньше.

***

Начальник станции пришёл к нам в восьмом часу, когда всё уже лежало на брезенте у пакгауза.

Он поглядел на ящик, на второй заряд, на мотки провода — и сел на рельс.

Сел прямо в снег, в форменной фуражке, и минуты три ничего не говорил.

— Иван Матвеевич, вам плохо? — окликнул его Дрозд.

— Мне не плохо, — отозвался он. — Я считаю.

— Что считаете? — не понял Дрозд.

Начальник станции снял фуражку и стал вертеть её в руках.

— У меня насосная — она же и красный уголок, — выговорил он наконец. — Мы там зимой собираемся, потому что там тепло от насоса. Двадцать человек помещается.

Он поглядел на нас снизу.

— Двадцать третьего февраля собирались. Сорок пять человек было, с семьями. Дети под самой лестницей сидели, потому что там ступеньки, на них удобно.

Никифоров медленно повернул голову к подвалу.

— Иван Матвеевич, вы идите домой, — попросил я.

— Сейчас пойду, — он не двинулся. — Ты мне одно скажи, сынок. Оно бы от чего рвануло?

Я подумал, что ему ответить.

И ответил правду, потому что он всё равно её узнает от других, и лучше пусть узнает от меня.

— Оно бы не рвануло само, — начал я. — Первый заряд был на срок, и срок вышел два года назад, и механизм отказал. А второй стоял на нажимном, и под него надо было встать.

— А встать кому? — уточнил он.

— Тому, кто разбирал бы первый.

Начальник станции надел фуражку.

— Значит, оно ждало вас, — подытожил он.

— Оно ждало любого, кто нашёл бы первый, — поправил я. — Нам просто выпало прийти со схемой.

Он встал, отряхнул шинель и пошёл к будке, и уже от угла обернулся.

— А что бы было, если бы вы не приехали?

Дрозд поглядел на меня.

И я понял, что отвечать придётся всё-таки мне.

— Ничего бы не было, Иван Матвеевич, — подытожил я. — Стояло бы дальше. Год, десять, пятьдесят. А потом кто-нибудь полез бы ставить новый насос и начал бы долбить стяжку.

***

Ночевали мы в будке стрелочника.

Дрозд достал флягу, налил в четыре кружки и первым выпил свою, не чокаясь.

— Ковалёв, я вам скажу одну вещь, и вы её от меня не ждали.

— Говорите, я слушаю.

— Я вас утром в вагоне держал за штабного, — признал он. — Я думал: приехал молодой из управления с бумажкой от немца, сейчас будет учить меня работать.

Он поглядел в кружку.

— А вы этого дурака за ремень вытащили.

Сазонов сидел у печки и молчал.

— Товарищ младший лейтенант, — окликнул он наконец. — Я хочу спросить, и вы не сердитесь.

— Спрашивай, чего уж теперь.

— Откуда он знал, что я отойду?

Я думал над ответом минуты две.

— Он не знал, что отойдёшь ты, — начал я. — Он знал, что отойдёт человек.

— А разница?

— Разница вся, — я поставил кружку. — Он сорок с лишним лет прожил и одиннадцать из них строил мосты. Он на стройке видел тысячу человек, которые что-нибудь ставили, а потом отходили поглядеть, ровно ли встало. Вот и всё его знание.

Дрозд поглядел на меня поверх кружки.

— Страшный он у вас человек, — подытожил Дрозд.

— Он не страшный, товарищ капитан, — не согласился я. — Он внимательный. Это хуже.

Никифоров, который за весь день выговорил четыре слова, подал пятое.

— А почему это хуже? — не понял он.

— Потому что страшного можно убить и успокоиться, — я поглядел на печку. — А внимательного надо переучивать, и переучивать некому, потому что он всё делает правильно.

Дрозд налил по второй и убрал флягу.

— Сазонов, а ты чего не пьёшь?

— Я не умею, товарищ капитан.

— Сегодня умеешь, — распорядился Дрозд. — Пей и ложись, завтра в шесть.

Сазонов выпил, закашлялся и стал глядеть в печку.

Минут десять все молчали.

— Товарищ младший лейтенант, — окликнул он наконец. — А у вас первый раз когда был?

— В июне сорок третьего.

— И как оно вышло?

Я подумал, стоит ли ему это рассказывать.

И решил, что стоит, потому что человеку, который сегодня чуть не встал на датчик, вредно ложиться спать с мыслью, что он один такой дурак на свете.

— Плохо, — признал я. — Я тогда лёг на скат под деревней и полчаса не мог сообразить, с какой стороны заходить.

— И кто вам подсказал?

— Никто, — я поставил кружку. — Рядом лежал сержант и ждал. Он меня не торопил, и вот за это я ему до сих пор благодарен, а он погиб через одиннадцать дней.

Сазонов помолчал.

— А я сегодня даже не понял, что делаю, — выговорил он. — Я просто отошёл. Товарищ младший лейтенант, я ведь даже не думал.

— В том и дело, что не думал.

— И как мне с этим теперь быть? — не отпустил он.

Вот тут я впервые за весь день сказал ему то, ради чего, наверное, и надо было его брать в эту поездку.

— С этим надо быть так, — начал я. — Ты запомни сегодняшний день и прокрути его назад: подвал, ниша, ты наклонился, выпрямился, шагнул. И запомни, что шаг был не твой. Его за тебя сделал человек, который умер бы со скуки, если бы ему сказали, что он воюет.

Сазонов поглядел на меня.

— А что потом? — не понял он.

— А потом всю службу ставь себе вопрос: чей это шаг, — я лёг на лавку и накрылся шинелью. — И если свой, то делай. А если не разберёшь, то стой на месте.

Никифоров поворочался в углу.

— Хорошо сказано, товарищ младший лейтенант.

— Плохо сказано, — не согласился я. — Хорошо было бы, если б я это сам придумал. А я это подсмотрел у него.

***

В Минск я вернулся второго марта.

Астахов выслушал доклад стоя, ни разу не перебив, а когда я кончил, подошёл к окну и простоял к нему спиной секунд двадцать.

— Сорок восемь килограммов под стяжкой, — подытожил он наконец.

— Сорок восемь ровно.

— И на нажимном датчике.

— На нажимном, товарищ полковник.

Он повернулся.

— Ковалёв, вы понимаете, что вы сейчас привезли?

— Понимаю. Подтверждение метода.

— Нет, — покачал он головой. — Вы привезли основание. Теперь я могу писать в Москву не «показания военнопленного», а «методика, подтверждённая полевой проверкой». Это два разных документа и две разных моих судьбы.

Он сел и придвинул к себе бланк.

— Сколько у него ещё таких правил?

Я подумал.

— Не знаю, товарищ полковник. Он их не формулирует. Он их применяет.

— Так вытащите из него, — потребовал он.

— Вытащу, — пообещал я. — Только тут одна сложность, и я про неё скажу сразу.

Астахов поднял голову.

— Говорите, не тяните.

— Он отдаёт правило только тогда, когда оно ему нужно самому, — я поглядел на него. — Восемьдесят третий он вспомнить не мог. Правило вылезло, потому что без него объект не закрывался. А те объекты, которые он помнит точно, он описывает и молчит.

— И что вы предлагаете делать? — не понял он.

— Я предлагаю дать ему объекты, которых он не помнит.

Астахов положил перо.

— То есть работать не по списку, а по дыркам в списке.

— Так точно, товарищ полковник.

Он долго молчал.

— Ковалёв, а вы соображаете, что при этом вы у него в руках?

Я это понимал.

***

Хальму я доложил четвёртого марта.

Доложил — именно так, я это слово выбрал сознательно, потому что рассказывать ему было нечего: ему надо было доложить.

Он выслушал, как слушал всегда: не перебивая, положив ладони на стол.

И когда я кончил, спросил не то, что спросил бы любой другой.

— Товарищ младший лейтенант, я имею три вопроса. Первый: как именно шёл ваш лейтенант?

— В каком это смысле как?

— В прямом смысле, — уточнил он. — Он отходил спиной или он поворачивался?

Я вспомнил.

— Спиной. Два шага.

Хальм кивнул и записал.

— Второй вопрос: он отходил от ниши прямо или он брал в сторону?

— Прямо, — подтвердил я. — Он стоял лицом к нише, наклонился, выпрямился и пошёл назад.

Хальм записал и это.

— Тогда третий вопрос, и он главный. Сколько человек было в помещении?

— Нас было четверо.

Он поглядел на меня.

И снял очки.

— Это неправильно.

— Что именно тут неправильно?

— Мой расчёт был на двоих, — он положил очки на стол. — Я считал так: в подвал спускается двое, находят закладку, разбирают, один снимает механизм, второй светит. Снявший отходит. Светящий стоит.

Он показал на чертёж.

— Радиус я дал полтора метра. Для двоих этого достаточно. Для четверых — нет.

Я не сразу понял, что он мне сейчас выговорил.

А когда понял, у меня стало нехорошо в горле.

— Хальм, вы хотите сказать, что он получился слабым?

— Я хочу сказать, что он был рассчитан неверно, — подтвердил он. — Если бы ваш лейтенант встал на датчик, погибли бы все четверо, а я считал на двоих. Это перерасход. Сорока восьми килограммов там было не нужно.

Он надел очки.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясняю профессиональную вещь, а вы на меня глядите так, будто я сказал непристойность.

— Я на вас гляжу потому, что вы сейчас пожалели о перерасходе тротила.

Хальм положил карандаш вдоль края листа.

И помолчал.

— Нет, — не согласился он наконец. — Я не жалею о тротиле. Я говорю, что расчёт был плохой, и плохой расчёт — это единственное, что я умею назвать своим словом.

Он поглядел на меня поверх очков.

— У вас есть другое слово. Вы его знаете, а я его не знаю. И я семнадцать месяцев учил ваш язык, в том числе чтобы его найти.

Мы просидели молча, наверное, минуту.

За стеной стучала машинка, за окном капало с крыши — начиналась первая оттепель.

— Хальм, вернёмся к делу, — начал я. — У вас сорок объектов, которые вы помните приблизительно.

— Сорок один, — поправил он. — Я вчера разделил восемьдесят девятый на два.

— По этим сорока одному ваше правило работает?

Он ответил не сразу.

— По ним оно не работает.

— Почему не работает?

Хальм встал, подошёл к окну и постоял там спиной ко мне — второй человек за три дня, который так делал.

— Потому что до апреля сорок четвёртого года я ставил по этому правилу, — выговорил он, не оборачиваясь. — А в апреле сорок четвёртого правило изменили.

— А кто его изменил? — уточнил я.

— Не я.

Он повернулся.

— Товарищ младший лейтенант, до апреля я отвечал за свои объекты сам. С апреля пришла инструкция, и по этой инструкции второй заряд ставился не там, где встанет человек. Он ставился в другом месте, и я его ставил, потому что мне приказали.

— И в каком это было месте?

Хальм поглядел на меня, и я в первый раз за две недели увидел на его лице то, чего там не было ни разу: он был недоволен собой.

— Я не помню, — признал он. — Я ставил по инструкции, а инструкцию я не понимал. И то, чего человек не понимает, он не запоминает.

Он сел.

— Я помню одно: инструкцию привезли из Бреслау, и на ней не было подписи начальника нашего отдела.

Он придвинул к себе чистый лист.

— Это значит, что её писали не сапёры.

Я поглядел на этот чистый лист.

И подумал, что за две недели впервые слышу от него слово, сказанное не про работу.

Он мог выговорить «инструкцию писали в другом отделе». Он мог выговорить «её писали в Бреслау». Он выговорил «не сапёры» — и в этих двух словах у него уместилось всё, что он думал про людей, которые придумывают, как убивать, не умея при этом ничего делать руками.

Он и себя, и меня держал по одну сторону этой границы.

И самое поганое было то, что я эту границу видел точно так же.

В тот вечер я написал Астахову рапорт на полторы страницы и в конце приписал одну строку, которой он от меня не ждал.

«Прошу запросить в трофейном управлении все документы отдела заграждений, поступившие из Бреслау в период с марта по май тысяча девятьсот сорок четвёртого года».

Он эту строку подчеркнул красным карандашом и вызвал меня на другой день.

Но это уже другая история, и начинается она с того, что запрос ушёл, а ответ на него пришёл не из трофейного управления.

Глава 3

Ответ на мой запрос пришёл через девять дней, и пришёл он не оттуда, откуда я его ждал.

Астахов вызвал меня тринадцатого марта, в четверг, в семь тридцать утра — то есть за полчаса до начала служебного времени, что само по себе означало разговор не для канцелярии.

Он сидел за столом, и перед ним лежал один лист.

Не папка. Лист.

— Ковалёв, садитесь.

Я сел.

— Вы у меня в феврале спрашивали, куда его повезут, когда кончатся объекты, — начал он. — Я вам тогда ответил: туда, где решают не сапёры.

— Помню такой разговор.

Он подвинул лист ко мне ребром ладони, но не отпустил.

— Так вот, туда уже не надо везти. Оно само приехало.

Я прочёл.

Бумага была короткая, в шесть строк, с угловым штампом, которого я не знал, и с номером, у которого не было ни дроби, ни буквенного индекса.

«Младшему лейтенанту Ковалёву П. А. явиться 13 марта с. г. к 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Урицкого, д. 4, комн. 22. При себе иметь удостоверение личности. Материалы, находящиеся в работе, не брать».

Подписи не было. Вместо подписи стояла фамилия, отпечатанная на машинке.

Крутов.

Я поглядел на эту фамилию, наверное, секунд двадцать.

— Товарищ полковник, вы знаете, кто это?

— Я знаю, что это не моё ведомство, — ответил он. — И знаю, что ваш запрос ушёл десятого утром в трофейное управление, а тринадцатого числа ко мне на стол легло вот это.

Он забрал лист.

— Ковалёв, я вам задам один вопрос и хочу простого ответа. Вы этого человека знаете?

Тут надо было решать быстро.

Я мог соврать. Я мог сказать, что фамилия мне незнакома, и Астахов бы поверил, потому что моя личная война с Крутовым была не по его ведомству и не в его бумагах.

Но он только что за меня расписался в Москве.

— Знаю, товарищ полковник, — признал я. — Он вёл по мне проверку в сорок пятом и сорок шестом году. Двадцать один месяц.

Астахов положил лист в стол и запер ящик.

— По какому поводу проверка?

— По поводу того, откуда я знаю то, что знаю.

Он поглядел на меня очень внимательно.

И не спросил, чем проверка кончилась, и не спросил, что именно я знаю, и этого я ему не забыл ни тогда, ни потом.

— В одиннадцать, — распорядился он. — И вот что, Ковалёв. Возвращайтесь сюда после. Хоть в двенадцать, хоть в девять вечера. Я буду на месте.

***

Дом четыре по Урицкого был трёхэтажный, довоенный, с новой штукатуркой на втором этаже и старыми выбоинами на первом.

Ни вывески, ни часового снаружи.

Часовой был внутри, за дверью, и он мой пропуск читал так долго, что я успел сосчитать все плитки на полу вестибюля.

Комната двадцать два оказалась на втором этаже, в конце коридора.

И когда я туда вошёл, я в первую секунду решил, что ошибся дверью.

Потому что за столом сидел человек, которого я не узнал.

Крутов сорок пятого года был сухой, поджарый, с прямой спиной и с тем особенным спокойствием, которое бывает у людей, никуда не торопящихся, потому что все всё равно придут к ним сами.

Этот был толще килограммов на десять, с одутловатым лицом и с мешками под глазами.

И китель на нём был не тот. В сорок шестом он носил майорский. Сейчас на погонах было по одной звезде больше.

— Пётр Андреевич, — окликнул он. — Проходите, садитесь.

Я сел.

Он ничего не стал доставать из стола. Он просто сложил руки и поглядел на меня, и с полминуты мы молчали.

— Год и три месяца, — подытожил он наконец.

— Год и два, товарищ подполковник. Последний раз был в январе сорок шестого.

— В январе, — согласился он. — Двадцать шестого числа, в шестнадцать сорок. Я вам тогда отдал сто восемь листов.

Он поглядел на меня.

— И один оставил себе.

Вот так, с третьей фразы, он выложил на стол то, ради чего, наверное, и вызвал.

— Я помню, товарищ подполковник.

— Я знал, что помните, — не стал спорить он. — Вы такие вещи не забываете, я вас за двадцать один месяц изучил лучше, чем кого бы-то ни было еще.

Он открыл ящик, вынул тонкую папку и положил перед собой.

Не открыл.

— Пётр Андреевич, я вас вызвал не по этому поводу, — начал он. — Но раз вы уже сидите и глядите на папку, давайте с неё и начнём, чтобы вы потом слушали меня, а не её.

Он развязал тесёмки.

Внутри лежал один лист.

Я его узнал сразу, потому что я его сам писал: опись, сделанная моей рукой, на тетрадной бумаге в клетку, с датами в левом столбце и пометками в правом.

Сто девятый лист.

Тот самый, который не попал в пачку, которую он мне вернул.

— Вы его читали? — уточнил я.

— Я его читал сто раз, — подтвердил Крутов. — И знаете, что я вам скажу, Пётр Андреевич? Я его до сих пор не понял.

Он повернул лист ко мне.

— Вот тут у вас в правом столбце против семнадцати позиций стоит пометка. Одна и та же. Вы её ставили карандашом, а потом обводили чернилами.

Я поглядел.

Пометка была: «не наше».

— Объясните мне, что это значит.

Я подумал, как это объяснить человеку, которому нельзя объяснять.

— Это значит, что по семнадцати объектам почерк был чужой, — начал я. — Не тот, что по остальным.

— Чужой — это в каком смысле? — не понял он.

— Хуже, — я показал пальцем. — Грубее гнездо. Скоба бита вкось. Подрыв рассчитан с запасом, которого не нужно.

Крутов кивнул.

— То есть у вашего немца был ученик.

— У немца, которого тогда не было в природе, — поправил я. — Я тогда его фамилии не знал.

— А теперь знаете.

— Теперь знаю.

Он забрал лист и убрал в папку, и папку отодвинул на угол стола — так, чтобы она была видна.

— Пётр Андреевич, я вам эту бумагу не отдам, и вы даже не начинайте, — предупредил он. — Но я вам скажу, почему.

Он встал и подошёл к окну.

— Я её не отдаю не потому, что держу вас на крючке. Я её не отдаю потому, что она единственный документ, где кто-то отделил одну руку от другой. У меня в ведомстве такого документа нет, и у военных нет, и в трофейном управлении нет.

Он повернулся.

— Она у меня одна.

— Товарищ подполковник, а почему это стало вам нужно?

Крутов вернулся к столу и сел.

И вот тут он вынул вторую папку, и эта была толстая.

— Потому что десятого марта в трофейное управление пришёл запрос за подписью полковника Астахова, — выговорил он. — И этот запрос попросил документы, поступившие из Бреслау в марте — мае сорок четвёртого года.

Он положил ладонь на папку.

— Запросов в трофейное управление приходит по сорок штук в месяц. Этот подняли наверх за четыре часа.

— Могу я поинтересоваться почему?

— Потому что по документам из Бреслау за этот период стоит ограничение, — он поглядел на меня. — И ограничение поставил не я и не в сорок четвёртом.

Крутов развязал вторую папку.

Но открывать её не стал. Он положил на неё обе руки, как кладут на закрытую крышку.

— Пётр Андреевич, я вам сейчас скажу то, чего вам по должности знать не положено, — начал он. — И скажу по одной причине: если я вам этого не скажу, вы сами докопаетесь, потому что вы уже копаете. А человек, который копает вслепую, поднимает наверх всё подряд, включая то, что поднимать нельзя.

Он помолчал.

— Немецкий отдел заграждений, в котором служил ваш Хальм, был инженерный. Штатные сапёры, штатная документация, нормативы, отчётность. Всё как у нас.

— Это я понял за две недели.

— А вот в декабре сорок третьего появилась контора, которая занималась тем же самым, но не была инженерной, — он постучал пальцем по папке. — Она сидела в Бреслау и подчинялась не по линии сапёров.

— По какой линии?

Крутов поглядел на меня.

— По полицейской.

Я сидел и смотрел на закрытую папку.

— Товарищ подполковник, я не понимаю, зачем полиции минировать мосты.

— А они не мосты минировали.

Он сложил руки.

— Пётр Андреевич, вы за три года работы поняли одну вещь, которую понимают не все: мина стоит не против того, кто на неё наступит. Она стоит против того, кто придёт после.

— Это я понял на второй неделе.

— Ну вот, — согласился он. — А теперь вообразите себе контору, у которой задача не задержать колонну и не сорвать переправу. У которой задача — чтобы на территории, с которой они ушли, ещё пять лет было нельзя жить.

Он поглядел на меня.

— Не воевать. Жить.

Я молчал.

— Школа, больница, водопровод, элеватор, мельница, — перечислил Крутов. — Чтобы человек, который вернулся в свою деревню, полез чинить мельницу и не починил её ни в сорок четвёртом, ни в сорок восьмом, ни в пятьдесят третьем.

Он развязал наконец тесёмки.

— У меня в этой папке сто шестьдесят четыре случая за два года. И ни один из них не подходит под сапёрный норматив.

Он стал выкладывать листы — не все, а через один, как сдают карты.

— Шестое августа сорок пятого, Полоцкий район, колодец. Четверо. Двадцатое мая сорок шестого, Могилёв, подвал детского сада, при разборе завала. Один взрослый, двое детей. Одиннадцатое сентября сорок шестого, Брянская область, мельница.

Он остановился на четвёртом листе.

— А вот это, Пётр Андреевич, вам будет интересно.

Я взял лист.

И прочёл первую строку дважды, потому что с первого раза не поверил.

«Гнилицы, Орловской обл. 14 марта 1946 г. Погиб Соломин Виктор Степанович, 1932 г. р.»

Я знал этот случай.

Я знал его так, как знаешь собственный шрам: Витька Соломин, четырнадцати лет, нашёл на огороде и стал показывать приятелям.

Мне про это написали в апреле сорок шестого, и я тогда неделю не мог работать.

— Вы знаете этот случай, — подытожил Крутов, следя за моим лицом.

— Я его знаю наизусть.

— А вот чего вы не знаете, — он перевернул лист и показал оборот. — Заключение сапёрной экспертизы от двадцать второго марта. Читайте четвёртый абзац.

Я прочитал.

И почувствовал, как у меня холодеет затылок.

«Взрывное устройство изготовлено кустарно, корпус — жестяная банка из-под консервов, снаряжение — тротиловая шашка 200 г, взрыватель нажимного действия самодельный. Установлено на глубине 4–6 см в обработанном грунте (огород). Признаков штатной немецкой постановки не обнаружено».

Не немецкая мина.

Самоделка.

— Товарищ подполковник, — выговорил я, и голос у меня был не мой. — Это поставил не немец.

— Это поставил не немец, — согласился Крутов.

— Тогда кто его поставил?

Он забрал у меня лист и положил в папку.

— А вот на этот вопрос я вам отвечать не буду, потому что ответа нет, — признал он. — У меня на сто шестьдесят четыре случая двадцать два, где экспертиза дала то же самое. Кустарь. Одна и та же школа, одна и та же рука, одна и та же банка.

— Товарищ подполковник, а по каким признакам вы их свели в одну руку? — уточнил я. — Банка из-под консервов — это не признак. Банок по всей стране миллион.

Крутов вынул из папки ещё один лист и подвинул ко мне.

— Вот вам признаки, читайте с четвёртого пункта.

Я прочёл.

И на четвёртом пункте понял, что человек, писавший экспертизу, был толковый.

«4. Нажимная планка во всех случаях выполнена из кровельного железа, ширина 30–32 мм, кромки загнуты внутрь на 3 мм.

5. Контактная пара — два гвоздя строительных, 100 мм, забиты в деревянное основание на расстоянии 11–12 мм.

6. Основание — обрезок доски, торцы опилены, фаска снята с трёх сторон».

Фаска.

Я положил лист на стол и сидел, наверное, полминуты.

Потому что ровно два дня назад я держал в руках сосновую доску с фаской, вынутую из ниши в гомельской водокачке, и человек, снявший ту фаску, сидел сейчас в комнате три на четыре и раскладывал объект девяносто первый.

— Товарищ подполковник, у вас тут написано «фаска снята с трёх сторон».

— Написано, — согласился Крутов. — И что это вам говорит?

— Это говорит, что его этому учили, — я подвинул лист обратно. — Фаску на подкладной доске снимают, чтобы она не кололась и не давала занозы под нажимную планку. Это не самоделка. Это самоделка человека, которого учили по нормативу.

Крутов откинулся на спинку.

И мы с ним минуты две глядели друг на друга, и у обоих в голове было одно и то же.

— Вы понимаете, что вы сейчас выговорили? — уточнил он.

— Понимаю, — подтвердил я. — Я выговорил, что он учился у того, кто сидит у меня в лагере.

Он завязал тесёмки.

— И все двадцать два — на территории, которую немцы оставили в сорок третьем и сорок четвёртом. И все — после сорок пятого года.

Я сидел и считал.

Витьке Соломину было четырнадцать. Он погиб в марте сорок шестого, через два года после того, как немцы ушли из Гнилиц.

Кто-то поставил самодельную мину на огороде через два года после ухода немцев.

— Товарищ подполковник, ученик, — выговорил я.

Крутов поглядел на меня.

— Вот, — подтвердил он. — Теперь вы понимаете, зачем мне сто девятый лист.

Мы просидели в комнате двадцать два до половины третьего.

Он принёс чаю — сам, из коридора, в двух стаканах с подстаканниками, и это было настолько не похоже на Крутова сорок пятого года, что я даже не сразу взял стакан.

— Пётр Андреевич, теперь условия, — начал он. — Слушайте внимательно, я повторять не стану.

Я молча кивнул.

— Первое. Вы продолжаете работать с Хальмом по линии Астахова, как работали. Объекты, описания, выездные проверки — это всё ваше и его, я туда не лезу.

Он отставил стакан.

— Второе. Всё, что Хальм говорит про Бреслау, про полицейскую линию и про своего ученика, идёт ко мне. Напрямую. Не через Астахова.

— Товарищ подполковник, а почему не через Астахова?

— Потому что Астахов честный человек и подошьёт это в дело, — он поглядел на меня поверх стакана. — А дело читают двенадцать человек.

Я подумал.

— А третье условие какое?

— Третье вам понравится меньше, — предупредил он. — Вы не спрашиваете Хальма про ученика прямо.

— Почему мне нельзя спрашивать прямо?

— Потому что он вам соврёт, — Крутов поставил стакан. — Пётр Андреевич, ваш немец два месяца сидел и раскладывал по памяти сто семнадцать объектов. Человек с такой головой понимает, что ученик — это его единственный товар, который ещё не продан.

Он поглядел на меня.

— Он его отдаст последним. И отдаст тогда, когда кончится всё остальное.

Я поставил стакан.

— Товарищ подполковник, а теперь мои условия.

Крутов поднял брови — и я в первый раз за два года увидел на его лице что-то похожее на удовольствие.

— У вас есть условия? — не поверил он.

— У меня оно одно.

— Тогда называйте.

— Панкратов, — начал я. — Старшина Панкратов, Николай Фёдорович, двадцать восьмой отдельный сапёрный батальон. Демобилизован в сорок пятом по ранению. Живёт в Вязьме, работает сторожем при артели.

Крутов молчал.

— Я подавал четыре рапорта на разрешение выезда, и все четыре завернули, — договорил я. — Основание одно: нахожусь под проверкой.

— Вы больше не под проверкой, — поправил он. — Проверка закрыта двадцать шестого января сорок шестого года.

— А рапорта всё равно заворачивают.

Он взял перо и придвинул к себе бланк.

— Заворачивают, потому что в личном деле подшита выписка, а выписку никто не читает, читают штамп, — он стал писать. — Когда вы хотите ехать?

— В апреле, если управление отпустит.

— Управление отпустит, — не отпуская пера, подтвердил он. — Что вам от него нужно?

Тут я мог соврать и сказать, что хочу навестить старика.

Но врал я Крутову двадцать один месяц и знал, чем это кончается.

— Он последний, кто был на хуторе, — признал я. — Северцев погиб. Панкратов живой. И я хочу спросить у него одну вещь, которую не спросил в сорок третьем.

— Какую вещь?

— Это моё дело, товарищ подполковник.

Крутов дописал строку, поставил дату и отложил перо.

— Хорошо, — согласился он. — Пусть будет ваше.

Он подул на бумагу.

И уже у двери, когда я взялся за ручку, окликнул меня так, как окликают, когда весь разговор был ради этого.

— Пётр Андреевич.

Я обернулся.

Крутов сидел за столом, и обе папки лежали перед ним — тонкая и толстая.

— Последний вопрос, и отвечайте сразу, не думая, — попросил он. — Хальм вам называл фамилию?

Я стоял и держался за дверную ручку.

Он ведь мне её действительно не назвал.

Он выговорил ровно так: «Я знаю фамилию одного человека оттуда. Но я вам её не назову, пока не решу, что вы с ней сделаете».

То есть формально ответ был — нет.

— Не называл, — отозвался я.

Крутов поглядел на меня.

И медленно кивнул, и я понял по этому кивку, что он не поверил ни одному слову и что это его совершенно устраивает.

— Идите, — распорядился он. — Машина внизу, вас отвезут.

***

К Астахову я попал в четвёртом часу.

Он выслушал первую половину — про Бреслау, про полицейскую линию, про сто шестьдесят четыре случая, — и по мере того как я говорил, лицо у него делалось всё более неподвижным.

А когда я дошёл до самоделки на огороде в Гнилицах, он встал и прошёлся по кабинету.

— Ковалёв, вы понимаете, что вы сейчас мне принесли?

— Понимаю, товарищ полковник.

— Ни черта вы не понимаете, — он остановился у карты. — Я тут второй год воюю за то, чтобы у меня разминирование считалось инженерной задачей. Чтобы мне давали людей, технику и сроки. А вы мне принесли, что часть моей работы — это не разминирование вовсе.

Он поглядел на карту.

Белоруссия, Смоленщина, Брянщина. Восемнадцать флажков — выездные группы на март.

— Что вы от меня хотите?

— Две вещи, товарищ полковник, — начал я. — Первая: выезд в Вязьму в апреле. Разрешение подписано.

— Кем подписано?

— Подписано им самим.

Астахов хмыкнул.

— А вторая?

Вот вторую я обдумывал всю дорогу от Урицкого.

— Вторая такая, — выговорил я. — Мне нужно, чтобы все заключения экспертиз по подрывам на гражданских объектах за сорок пятый — сорок седьмой год шли ко мне. Не в дело, а лично.

— А это вам зачем?

— Затем, что я хочу знать, где ещё была эта банка из-под консервов.

Астахов вернулся к столу.

И сел, и долго глядел на свои руки.

— Ковалёв, я вам сейчас скажу неприятное, — начал он. — Вы полтора месяца работаете с Хальмом и делаете три с половиной объекта в день. Это лучший результат в управлении. Если вы полезете ещё и в это, вы не потянете оба дела.

— Я потяну оба, товарищ полковник.

— Не потянете, — не принял он возражения. — И знаете почему? Потому что первое дело вам даётся легко, а второе будет вас есть.

Он придвинул бланк.

— Но я подпишу, потому что я двадцать лет в армии и научился отличать человека, который просит работу, от человека, который просит должность.

Он подписал.

— Держите. И вот что, Ковалёв.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Про вашу опись, которую он вам не отдал, — Астахов положил перо. — Я не спрашиваю, что там. Я спрашиваю другое: она вам нужна?

Я подумал.

И понял, что за год с лишним впервые честно отвечаю на этот вопрос.

— Нет, — признал я. — Раньше нужна была. А теперь пусть у него лежит.

— Почему теперь не нужна?

— Потому что раньше я боялся, что по ней меня посадят, — я взял бланк. — А теперь по ней ищут человека, который ставит банки на огородах.

***

Вечером я разложил на своём столе в общежитии карту Белоруссии и Смоленщины и стал выписывать то, что запомнил из папки Крутова.

Записывать оттуда он мне не дал ни строчки — и правильно сделал.

Но у меня за три года выработалась привычка, которой я обязан тетради: если нельзя записать, надо запомнить не текст, а порядок. Дата, район, объект, сколько человек. Двадцать два пункта.

Я выписал девятнадцать.

Три вспомнить не смог и оставил пустые строки, чтобы не подгонять.

Потом взял карандаш и стал ставить точки.

Дорохов вернулся в одиннадцатом часу, увидел карту и остановился в дверях, не снимая шинели.

— Ковалёв, это что у тебя?

— Это работа.

— Это не работа, — не согласился он. — Работа у тебя в папке лежит. А это ты для себя делаешь.

Он подошёл и поглядел на точки.

— Что ты тут отмечаешь?

— Подрывы на гражданских объектах после сорок пятого года, — я не стал поднимать головы. — Колодцы, мельницы, огороды, подвалы.

Дорохов постоял.

— И что, они как-то ложатся?

Я поглядел на карту.

Они ложились.

Не кучей и не разбросом, а полосой: от Полоцка на юго-восток, через Могилёвскую, в Брянскую, с загибом на Орловскую. Полоса шириной километров в сто пятьдесят.

— Ложатся, — подтвердил я. — И знаешь, на что похоже?

— На что?

— На маршрут, — я поставил последнюю точку. — Человек не сидит на месте. Он идёт.

Дорохов наконец снял шинель.

— Ковалёв, а ты сколько ночей уже не спишь?

— Третью ночь пошла.

— Оно того стоит?

Я поглядел на девятнадцать точек, из которых одна была Гнилицы, и в Гнилицах был огород, и на огороде четырнадцатилетний Витька Соломин показывал приятелям жестяную банку.

— Стоит каждой из них, — подытожил я.

***

В лагерь я приехал на следующее утро, в девять двадцать, как всегда.

Хальм уже работал.

Он поднял голову, отодвинул чернильницу к краю стола — этот жест у него был вместо «здравствуйте» — и придвинул ко мне лист.

— Товарищ младший лейтенант, объект девяносто один. Я имею затруднение с ориентиром.

Я сел напротив и положил перед собой тетрадь.

И три часа мы работали как обычно: он вспоминал дорогу от машины, я задавал вопросы про крепление, и к обеду мы закрыли девяносто первый и девяносто второй.

А про Бреслау я не спросил ни разу.

Он это заметил.

Я увидел, как он это заметил: на втором часу он два раза поднял на меня глаза не по делу, а на третьем — переспросил вопрос, который слышал прекрасно.

И перед самым обедом положил карандаш вдоль края листа.

— Товарищ младший лейтенант, я имею наблюдение.

— Говорите ваше наблюдение.

— Вчера вы не приехали, — выговорил он. — Сегодня вы приехали и не задали мне ни одного вопроса про инструкцию из Бреслау.

Он поглядел на меня поверх очков.

— Это значит, что вчера вам про неё рассказали.

Я молчал.

Хальм снял очки и стал протирать их рукавом — медленно, тщательно, как делал всегда, когда собирался выговорить то, что обдумывал долго.

— Тогда я вам скажу одну вещь и больше не буду её повторять, — начал он. — Человек, фамилию которого я знаю, не был немцем.

Он надел очки.

— Он и сейчас не немец.

Я положил карандаш.

— Вы понимаете, что вы сейчас сделали?

— Понимаю совершенно точно, — подтвердил Хальм. — Я вам отдал половину.

Он сложил руки на столе.

— Фамилию я не назвал. Я назвал признак. По признаку вы его не найдёте, потому что таких людей у вас много. Но вы теперь знаете, что искать не в лагерях.

— Зачем вы отдали половину?

Он подумал.

И ответил не сразу, а очень обстоятельно, как отвечал на вопросы по объектам.

— Потому что вы вчера не приехали, а сегодня приехали и не спросили, — начал он. — Человек, которому дали приказ спрашивать, спрашивает в первый час. Вы не спросили за три часа.

Он поглядел на меня поверх очков.

— Это значит, что вам не приказали. Это значит, что вы решили сами.

— И что из этого следует?

— Из этого следует, что я имею дело с вами, а не с вашим ведомством, — выговорил он. — А с вами я имею дело второй месяц и знаю, чего вы стоите.

Он придвинул к себе чистый лист.

— Товарищ младший лейтенант, теперь я имею просьбу, и она не по объектам.

— Говорите вашу просьбу.

— Когда вы его найдёте, — Хальм положил ладонь на лист. — Я хочу быть в той комнате.

Я поглядел на него.

— Зачем вам это?

Он снял очки и положил их на стол, и глаза у него были светлые, серые, с покрасневшими от письма веками.

— Затем, что я его учил, — признал он. — И я его учил хорошо. Я имею в этом свою часть, и я хочу поглядеть, что из неё вышло.

Он надел очки.

— И ещё затем, что он ставит их сейчас. Не в сорок четвёртом. Сейчас.

Он придвинул ко мне чертёж объекта девяносто три.

— А это уже не война. Это что-то другое, и у меня нет для этого слова ни на одном языке.

***

Я вышел из лагеря в четвёртом часу и до самой станции шёл пешком, хотя за мной присылали машину.

Четыре километра по раскисшей мартовской дороге, мимо торфяных карт, залитых чёрной талой водой, мимо жердей с трафаретными номерами.

И всю дорогу я думал не про ученика, не про банку из-под консервов и не про полосу от Полоцка на юго-восток.

Я думал про то, что человек, у которого я второй месяц беру показания, только что попросился со мной в одну комнату — и я поймал себя на том, что не сказал ему «нет».

Я вообще ничего ему не ответил.

Я перевёл разговор на объект девяносто три, и мы его закрыли за сорок минут, и это было самое честное, что я мог сделать.

Потому что ответить мне было нечего.

Он был мне нужен. Не как источник и не как пленный, а как единственный человек на земле, который держал в руках ту же доску с той же фаской и понимал, что она означает.

Вот это и есть самое поганое.

Ты можешь всю войну идти по следу одного человека, а потом сесть с ним за один стол — и ровно через два месяца обнаружить, что вы теперь вдвоём идёте по следу третьего.

Глава 4

В Вязьму я приехал двенадцатого апреля, в субботу, поездом Минск — Москва, с пересадкой в Смоленске и с шестичасовым ожиданием на смоленском вокзале.

Ожидание это я запомнил отдельно.

Вокзала в Смоленске не было. Была времянка из досок, поставленная в сорок пятом, с одной печкой на двести человек, и вокруг неё — то, что осталось от города.

Я ходил по перрону и глядел на стены.

Три года прошло, а стены стояли те же: обгорелые, с пустыми окнами, подпёртые брёвнами там, где грозило повалиться. И на каждой третьей — надпись мелом или краской, наша, сорок третьего и сорок четвёртого годов.

«Мин нет. Серёгин».

«Проверено. Ст. серж. Асланов. 14.9.43».

«Осторожно, подвал не проверен».

Вот эту последнюю я разглядывал минут пять.

Сорок третий год. Четыре года стоит надпись, и подвал, надо полагать, так и не проверен, потому что дом нежилой и до него никому нет дела.

А в подвале может лежать что угодно.

Я записал адрес в книжку и на другой день отправил открытку в Смоленское управление, и мне даже потом ответили, что подвал проверен и пуст.

Но это было потом.

От Смоленска до Вязьмы я ехал в общем вагоне, на нижней полке, и напротив меня сидела баба лет пятидесяти с двумя мешками и мальчишка лет двенадцати.

Баба ехала в Гжатск менять соль на картошку.

Мальчишка ехал с ней и всю дорогу глядел в окно, а когда я предложил ему кусок сахару из пайка, поглядел сперва на бабу и только потом взял.

— Вы сами-то не из здешних? — окликнула меня баба на втором часу.

— Из Минска, по служебной надобности.

— А по какой службе, если не секрет?

Я подумал и ответил так, как отвечал всегда.

— По инженерной. Разминирование.

Баба сразу подобралась.

— Товарищ военный, а к нам когда придёте?

— Куда это к вам? — не понял я.

— В Никольское, — она подвинулась ближе. — У нас за околицей поле, двенадцать гектаров. С сорок третьего не паханное.

Я достал книжку.

— Заявку подавали?

— Подавали, милый, три раза, — она загнула пальцы. — В сорок пятом, в сорок шестом и в январе. Нам отвечают: в плане на будущий год.

— И что, никто не пашет?

Баба поглядела на мальчишку.

И понизила голос, хотя в вагоне гремело так, что и в голос было плохо слышно.

— Пашут, товарищ военный. Как не пахать. Хлеба нет.

Она помолчала.

— В позапрошлом годе Гришка Ерёменко запахал две десятины с краю. И ничего, обошлось. А в прошлом за ним ещё двое пошли, и вот там уже не обошлось.

— И много народу подорвалось?

— Один совсем, — она отвернулась к окну. — И конь.

Я записал: Никольское, Вяземский район, поле за околицей, двенадцать гектаров, заявки с сорок пятого.

Это был двенадцатый адрес в моей книжке за три года, и по одиннадцати предыдущим я всё-таки чего-то добился.

Мальчишка вдруг подал голос.

— А вы правда мины снимаете?

— Правда снимаю, четвёртый год.

— А их сколько осталось?

Я поглядел на него.

Двенадцать лет. Значит, родился в тридцать пятом, значит, войну помнит от начала до конца.

И отвечать ему надо было как взрослому, потому что врать таким бесполезно.

— Много осталось, — признал я. — Их будут снимать, когда ты станешь взрослый и когда твои дети вырастут.

Он подумал.

— Это очень долго ждать, — подытожил он.

— Это очень долго, — согласился я. — Поэтому ты запомни одно правило и держи его всю жизнь: если нашёл в земле железку, не трогай её, не бей и не показывай никому. Отойди по своему следу и скажи взрослым.

— А если взрослых нет?

— Тогда запомни место и иди за взрослыми.

Мальчишка кивнул.

Баба поглядела на меня и вдруг стала совать мне варёное яйцо, и отказаться было нельзя, и я его взял.

***

Вязьма оказалась хуже Смоленска.

Смоленск хотя бы строился — там работали краны, там был шум. Вязьма стояла тихая.

Из центра города не осталось почти ничего, и на месте кварталов лежали ровные поля битого кирпича, разобранного и сложенного в штабеля. Штабеля стояли аккуратно, по линейке.

Люди жили по окраинам, в бараках и в землянках, и по улицам ходили вперемешку: гражданские, инвалиды в шинелях без погон и пленные, которых водили на разборку под конвоем.

Артель «Красный металлист» стояла на восточной окраине, за путями: два кирпичных корпуса без крыш, один с крышей, забор из горбыля и ворота.

Сторожка была при воротах.

Я подошёл к ней в четвёртом часу дня.

Дверь была открыта, за дверью топилась печка, и на приступке сидел человек в ватнике и чинил хомут.

Я его узнал сразу.

И одновременно — не узнал совершенно.

Панкратов сорок третьего года был мужик лет сорока пяти, тяжёлый, широкий в кости, с шеей, на которой гимнастёрка не сходилась на верхнюю пуговицу. Он ходил медленно и всегда казался больше, чем был.

Этот был худой.

Ватник висел на нём, как на вешалке. Шея стала тонкой и жилистой, и на ней ходил кадык. Лицо сделалось узким, скулы вылезли, и правое плечо он держал ниже левого — так держат плечо люди, у которых что-то не срослось внутри.

Ему было пятьдесят два года.

Выглядел он на все шестьдесят пять.

— Здравствуйте, Николай Фёдорович.

Он поднял голову от хомута.

И с полминуты глядел на меня, не узнавая, и я успел подумать, что зря приехал.

А потом у него дрогнула рука с шилом.

— Мать честная.

Он положил хомут на приступку.

И стал вставать — медленно, в два приёма, помогая себе левой рукой о косяк.

— Сиди, Николай Фёдорович, не вставай.

— Цыц, — не принял он возражения. — Я перед тобой в сорок третьем вставал и сейчас встану.

Он встал.

И мы стояли друг против друга у ворот артели «Красный металлист», в апреле сорок седьмого года, и я не знал, что делать с руками.

Панкратов это решил за меня.

Он шагнул вперёд и обнял меня, и от него пахло махоркой, дёгтем и тем особенным запахом нежилого тепла, какой бывает в сторожках.

— Живой, — подытожил он мне в ухо. — Ах ты, живой.

Сидели мы в сторожке до самой темноты.

Печка была маленькая, чугунная, и он подкидывал в неё щепу из ящика — по две-три штуки, как кормят. На столе стояла жестяная кружка, лежал хлеб, накрытый полотенцем, и стопка старых накладных, которые он употреблял на самокрутки.

— Ты ешь, — распорядился он и подвинул хлеб. — Ты с дороги, а я тут при пайке.

— У меня свой паёк, я из управления, — не согласился я.

— Из управления, — повторил он и поглядел на мои погоны. — Младший лейтенант. Пётр, а ты почему младший-то до сих пор?

Я не сразу нашёлся.

— Так уж вышло, Николай Фёдорович.

— Ничего у нас так не выходит, — не согласился он. — У нас всё выходит по бумаге. По какой бумаге ты у нас четвёртый год в младших?

Я поглядел на печку.

— По той, что я с сорок пятого был под проверкой.

Панкратов долго молчал.

Потом достал накладную, оторвал полосу и стал сворачивать.

— Проверка, — выговорил он наконец. — А по какому поводу?

— По поводу того, что я слишком много знал про немецкие заграждения.

— Это которые ты нам на хуторе объяснял? — уточнил он.

— В том числе.

Он послюнил край и заклеил.

— Ну да, ну да, — подытожил он. — Знал. Ты, Пётр, тогда знал такое, чего Северцев не знал, а Северцев был не дурак.

Он прикурил от печки.

И вот тут я понял, что разговор, ради которого я ехал шестьсот с лишним километров, начнётся не тогда, когда я его начну, а тогда, когда он сам захочет.

Поэтому я стал спрашивать про другое.

— Николай Фёдорович, а вы как сюда попали?

— Обыкновенно попал, — отозвался он. — Меня в сорок четвёртом, в июле, под Ковелем накрыло. Осколок под правую лопатку, второй в лёгкое.

Он показал папиросой на грудь.

— Второй там и живёт. Его доставать нельзя, он у меня к сердечной сумке прилёг.

— Он у вас болит? — уточнил я.

— Не болит, а мешает, — поправил он. — Дышу я на три четверти. Бегать не могу, тяжёлое не могу, а сидеть и сторожить очень даже могу.

Он затянулся.

— Мне тут ничего, Пётр. Тепло, паёк, начальство не лютое. Восемь лет до пенсии досижу.

— А семья у вас есть? — спросил я.

Панкратов стряхнул пепел в консервную банку.

— Семьи нет, — выговорил он. — Была в Ржеве. Жена и двое. В сорок втором.

Я молчал.

— Ты не думай, я про это спокойно говорю, — он поглядел на меня. — Не потому, что отболело. Отболело оно не отболит. А потому, что если я про это не буду спокойно говорить, я тут повешусь на этих воротах, и кто тогда артель сторожить будет?

Он подкинул щепу.

— Ты лучше скажи, кто живой.

И я стал говорить.

Я говорил, наверное, час.

Про Ромку Соловьёва — что Гриша погиб в июле сорок третьего под Понырями, а Ромка дошёл до Берлина, демобилизовался в сорок шестом и живёт в Курске, работает на дорожном строительстве, и у него дочь.

Про Митрохина, который потерял ногу в декабре сорок третьего, но выучился на бухгалтера и сидит в Калуге.

Про старшину Гурьева, который нашёл заряд в орловской школе и служит теперь в Бобруйске.

Панкратов слушал и курил.

И когда я кончил, он долго ничего не говорил, а потом подытожил так:

— Значит, из отделения нас четверо осталось.

— Четверо, Николай Фёдорович, вместе со мной.

— Из десяти-то.

Он бросил окурок в банку.

— Ну, четверо — это много. У меня знакомый один тут, в артели, у него из роты двое.

***

Часов в восемь он поставил чайник.

И вот тогда, наливая кипяток в кружку, спиной ко мне, начал сам.

— Пётр, ты ведь не с приветом ко мне ехал.

— Не с одним приветом, это правда.

— И не поглядеть, как старик живёт.

— И поглядеть тоже.

Панкратов поставил чайник на печку.

И сел напротив, и поглядел на меня так, как глядел в сорок третьем, когда решал, посылать меня на скат или не посылать.

— Ну спрашивай, чего у тебя.

Я эту минуту готовил четыре года.

И когда она пришла, у меня получилось хуже, чем я репетировал.

— Николай Фёдорович, я хочу спросить вас про июнь сорок третьего.

— Спрашивай, чего уж там.

— Вы тогда, на третьи сутки, отправили Ромку за водой, а меня оставили у входа. Помните?

— Как не помнить.

— И сели рядом и молчали минут двадцать.

Панкратов взял кружку.

— И это помню.

Я поглядел на печку, потому что в глаза ему смотреть было тяжело.

— Николай Фёдорович, вы тогда что-то поняли.

Он не ответил.

— Вы поняли, что я не тот, за кого себя выдаю, — договорил я. — Я это по вашему лицу видел. И я четыре года думаю, что вы тогда поняли и почему ничего не сказали.

Панкратов поставил кружку на стол.

И полез за накладными, и стал сворачивать вторую самокрутку, и делал это очень долго, и я не мешал.

— Пётр, я тебе сперва расскажу, а потом ты меня спросишь ещё раз, — начал он наконец. — Потому что ты спрашиваешь не то.

— Тогда рассказывайте.

Он прикурил.

— Ты к нам пришёл двадцать второго июня. Я тебя принял и в тот же день послал на скат, потому что мне надо было поглядеть, чего ты стоишь.

Он затянулся.

— И ты пошёл. И лёг. И полчаса лежал и не работал.

— Я тогда не мог сообразить, с какой стороны заходить.

— Это я потом понял, — согласился он. — А тогда я лежал в двадцати метрах и думал: всё, дали мне дурака, сейчас он там ляжет навсегда.

Он стряхнул пепел.

— А потом ты стал работать. И я поглядел, как ты работаешь, и у меня, Пётр, внутри всё перевернулось.

— Почему у вас перевернулось? — не понял я.

Панкратов поглядел на меня.

— Потому что ты работал не как боец, — выговорил он. — Ты работал как человек, который уже сто раз это делал и один раз ошибся.

Он помолчал.

— У нас так работали трое на весь батальон, и все трое были кадровые, с финской. А тебе было девятнадцать лет по бумаге.

Он положил самокрутку на край банки.

— Вот с этого я и стал за тобой глядеть.

— И что же вы наглядели? — уточнил я.

— А наглядел я вот что, — он стал загибать пальцы. — Первое: ты не знал ни одной нашей песни. Ни одной, Пётр. Ребята вечером поют, а ты сидишь и рот открываешь не в такт.

Я сидел и молчал.

— Второе: ты не умел крутить самокрутку. Вообще не умел, тебя Ерохин учил на третий день. А по бумаге ты из рабочей семьи, с завода.

Он загнул третий.

— Третье: ты ложку держал не так.

— А как надо было держать? — не понял я.

— А так, как господа держат, — он показал. — Не всей горстью, а вот этак, тремя пальцами. Я на тебя поглядел и подумал: либо из бывших, либо не из наших мест.

Он загнул четвёртый.

— Четвёртое, и это уже было серьёзно. Ты в разговоре два раза сказал слово, которого я не знал.

— Какое именно это было слово?

Панкратов подумал.

— Одно я забыл, — признал он. — А второе помню: «ноль-целых». Ты сказал: «ноль целых восемь десятых метра». Пётр, у нас никто так не говорил. У нас говорили: без малого метр.

Он взял самокрутку.

— Вот тебе четыре штуки. А было их у меня штук двадцать.

Я сидел в сторожке, в Вязьме, в апреле сорок седьмого года, и у меня на спине была холодная рубаха.

Четыре года.

Четыре года я считал, что держался хорошо.

— Николай Фёдорович, а почему вы никому не сказали? — прямо спросил я.

И вот тут он сделал то, чего я не ждал.

Он засмеялся.

Смеялся он тихо и коротко, потому что дышал на три четверти, и от смеха у него перекосило правое плечо.

— Так я же сказал, — подытожил он.

Я поднял голову.

— Кому вы сказали? — не понял я.

— Северцеву, — он отпил из кружки. — Второго июля, в Понырях, после того как погреб разгрузили. Я к нему подошёл и говорю: товарищ капитан, у меня к вам разговор про красноармейца Ковалёва.

Я сидел не дыша.

— И что он вам на это? — не выдержал я.

— А он на меня поглядел и говорит: старшина, я вас слушаю, только сперва ответьте мне на один вопрос, — Панкратов поставил кружку. — Он спросил: старшина, вы считаете, что Ковалёв работает против нас?

— А вы что ему ответили? — уточнил я.

— А я что. Я сказал: никак нет, товарищ капитан. Он работает за нас, и работает лучше всех, кого я видел.

Панкратов поглядел на меня.

— И тогда Северцев мне говорит: старшина, вот и я так считаю. А раз мы с вами так считаем, то давайте с вами условимся: пока он работает за нас, мы с вами не будем выяснять, откуда он такой взялся.

Он помолчал.

— И добавил: а если начнём выяснять — у нас его заберут, и вместо него пришлют кого пришлют.

Я сидел в сторожке и глядел на печку.

Северцев.

Он всё знал с начала июля сорок третьего года.

И работал со мной ещё год.

— Николай Фёдорович, а он больше ничего не говорил? — не отпустил я.

— Говорил, — подтвердил Панкратов. — Он мне сказал третью вещь, и вот её я тебе передам слово в слово, потому что я её четыре года ношу и не знал, кому отдать.

Он выпрямился, насколько мог.

— Он сказал: старшина, у нас война. На войне спрашивают не «кто ты», а «что ты умеешь». А после войны будут спрашивать «кто ты», и тогда ему придётся тяжело. Вот тогда, если мы с вами живы будем, мы ему и поможем.

Панкратов поглядел на меня.

Я сидел и молчал.

— Вот я и помогаю, — подытожил старшина. — Как умею.

Мы просидели молча, наверное, минут пять.

Печка потрескивала, за окном было черно, где-то далеко, на путях, работал маневровый.

— Николай Фёдорович, вы меня простите, — попросил я наконец.

— За что это?

— За то, что я вам четыре года врал, — признал я.

Панкратов отмахнулся здоровой рукой.

— Пётр, ты мне не врал, — не принял он возражения. — Врёт тот, кто выгоду имеет. А ты ходил на скаты и снимал то, чего до тебя никто снять не мог.

Он подкинул щепу.

— Ты мне не соврал ни разу. Ты мне просто не всё сказал. Это, брат, разные вещи, и на войне их отличают лучше, чем в мирное время.

Он поглядел на меня.

— А теперь я тебя спрошу, и ты мне тоже можешь не всё сказать.

— Спрашивайте, Николай Фёдорович, чего уж теперь.

— Ты откуда?

Вот он, вопрос.

Четыре года я боялся, что мне его задаст Крутов, и готовил на него шестнадцать вариантов ответа, и все шестнадцать были враньё.

А задал мне его старшина Панкратов, в сторожке, у печки, и я вдруг понял, что врать не буду.

— Николай Фёдорович, я вам отвечу, и вы мне не поверите.

— А ты отвечай, а верить — это уж моё дело.

Я поглядел на него.

— Я из другого времени, Николай Фёдорович.

Панкратов не пошевелился.

— Это как понимать?

— Буквально понимать, — я поглядел на печку. — Я родился много позже. Я служил сапёром, снимал то, что осталось от этой войны. А в июне сорок третьего я очнулся под деревней, в воронке, и на мне была красноармейская форма.

Старшина взял самокрутку.

Она погасла, и он её раскурил, и делал это, как всё делал, очень обстоятельно.

— Много позже — это сколько?

— Я вам этого не скажу, Николай Фёдорович, — не согласился я.

— Почему не скажешь?

— Потому что вы тогда захотите узнать, чем всё кончится, — я поглядел на него. — А этого знать нельзя никому, и мне в том числе.

Панкратов затянулся.

И покивал — медленно, как кивают собственным мыслям, и я вспомнил, что ровно так же кивал Хальм, и от этого мне стало совсем нехорошо.

— Ну, ясно, — подытожил он.

— Что вам ясно? — не понял я.

— То и ясно, что я себе примерно так и объяснял, — он поглядел в печку. — Я, Пётр, конечно, до такого не додумался. Я думал проще: либо ты из бывших, либо тебя откуда-то нам прислали и велели молчать.

Он помолчал.

— А как ты в сорок пятом мины начал по книжке называть, которой ещё нет, я думать перестал. Потому что тут либо верь, либо не думай.

Он поглядел на меня.

— Я выбрал не думать. Оно спокойнее.

***

Уехать я собирался утренним, в шесть двадцать.

А в одиннадцатом часу, когда я уже собрал вещмешок и Панкратов постелил мне на лавке, он вдруг сел на своей койке и выговорил то, ради чего, наверное, вся эта поездка и была нужна.

— Пётр, я ведь тебе главного не сказал.

Я обернулся.

— Говорите, я слушаю.

— Ко мне летом приезжали, — начал он. — В прошлом году, в июле. Человек один.

Я сел обратно на лавку.

— Какой такой человек? — не понял я.

— Гражданский, — Панкратов поскрёб щетину. — Лет сорока, может, чуть больше. В пиджаке, в сапогах. Документы показал, только я в них не разобрал, у меня очки не те.

— И что он у вас спрашивал? — уточнил я.

— Вот тут и начинается, — старшина поглядел на меня. — Он про тебя ничего не спрашивал, Пётр. Он про хутор спрашивал.

Я сидел не двигаясь.

— Что именно про хутор?

— Он спросил: старшина, вы были на объекте в Орловской области в июне сорок третьего? Я говорю: был. Он спрашивает: вы в погреб спускались? Я говорю: спускался, и не раз.

Панкратов понизил голос, хотя нас никто не слышал.

— А потом он спрашивает: а на стене там что-нибудь было написано?

У меня в сторожке стало тихо, как в том погребе.

Надписи.

Надписи углём на стене погреба, которые Хальм оставлял на каждом объекте, и которые я читал в июне сорок третьего, и по которым я потом четыре года его искал.

— И вы что ему на это ответили?

— Я ответил правду, — Панкратов поглядел на меня. — Я сказал: было, товарищ. Было там написано по-немецки, и наш боец Ковалёв это прочёл и перевёл.

Он помолчал.

— А он тогда спрашивает: а что именно там было написано?

— И вы вспомнили? — переспросил я.

— Пётр, я ту стену помню, как эту печку, — он показал на печку. — Я на неё четверо суток глядел. Только я по-немецки не разумею и что там было — не знаю. Я ему так и сказал.

— А он на это что? — не отпустил я.

Панкратов лёг на койку и заложил руки за голову.

— А он посидел, покурил и уехал, — подытожил он. — И больше не появлялся.

Я сидел на лавке, в сторожке, в Вязьме, и считал.

Июль сорок шестого года.

Хальм в это время уже полгода сидел в лагере под Минском и учил русский язык.

Крутов в это время ещё вёл по мне проверку и про надписи знал, потому что они были в моей описи.

А по Смоленщине ездил гражданский человек лет сорока, в пиджаке и сапогах, и спрашивал у демобилизованных сапёров, что было написано углём на стене погреба в Орловской области.

— Николай Фёдорович, а он вам не назвался?

— Назвался, — отозвался Панкратов из темноты. — Только я забыл, врать не буду. Фамилия обыкновенная, русская.

Он повернулся на бок.

— А вот что я не забыл, так это руки.

Я поднял голову.

— А что у него с руками? — не понял я.

— У него на правой ладони мозоль, — выговорил старшина. — Вот тут, под пальцами, поперёк. Такая бывает от лопаты и от кувалды.

Он помолчал.

— Пётр, у человека в пиджаке, который ездит с документами и всех расспрашивает, такой мозоли быть не должно.

Он зевнул.

— Спи. В шесть двадцать твой.

***

Разбудил он меня в половине пятого.

Печка была протоплена заново, на ней стоял чайник, а на столе лежал хлеб и два яйца, и я понял, что он не спал вовсе.

— Николай Фёдорович, зачем вы в такую рань? — не понял я.

— Затем, что мне до тебя дело есть, — не принял он возражения. — Садись, ешь.

Я сел.

Он налил кипятку и сел напротив, и по тому, как он сел, я понял, что сейчас будет главное.

— Пётр, ты вчера про Северцева рассказывал.

— Рассказывал вчера.

— А я тебя не перебил, — он поставил кружку. — А надо было.

Он поглядел в печку.

— Я там был.

Я опустил кусок хлеба.

— Где вы были? — переспросил я.

— Под Ковелем, — выговорил Панкратов. — В июле сорок четвёртого. Я тебе вчера сказал, что меня там накрыло, а откуда накрыло — не сказал.

Он потёр правое плечо.

— Меня накрыло оттуда же.

Я сидел и не дышал.

— Мы в тот день работали по железнодорожной ветке, — начал он. — Северцев приехал утром из отдела, злой, потому что у него сроки горели. Там стояла водокачка и при ней будка.

Водокачка.

Я поставил кружку на стол, потому что рука у меня дрогнула.

— Он взял двоих и пошёл в будку, — договорил старшина. — А я остался у путей, метрах в двухстах, потому что мне с моим весом в подвал лезть было несподручно.

Он помолчал.

— Они там работали час с лишним. Потом двое вышли, а он остался.

— А зачем он остался? — не понял я.

— А вот зачем, — Панкратов поглядел на меня. — Они первый нашли и сняли. И вышли доложить. А он остался поглядеть, чисто ли.

Я закрыл глаза.

Два шага назад.

Человек снимает первый заряд, выпрямляется и делает два-три шага, чтобы поглядеть, — и всё, что я узнал про это в феврале сорок седьмого года в комнате три на четыре, случилось с капитаном Северцевым в июле сорок четвёртого, за два с половиной года до того, как я это узнал.

— Николай Фёдорович, а он там один был? — уточнил я.

— Он остался один.

— И вы это видели?

— Я это слышал, — поправил он. — Видеть там было нечего. Будку разнесло по кирпичу, а меня положило на насыпь и накрыло щебнем.

Он подкинул щепу.

— Меня выкопали через час. А его собирали двое суток и собрали не всего.

Мы сидели молча.

За окном светало, и на путях, за забором артели, кто-то ходил с фонарём.

— Пётр, я к чему это всё, — начал старшина наконец. — Я у него в кармане нашёл одну вещь. Не я нашёл, мне отдали в медсанбате, когда я в себя пришёл. Санитар отдал, потому что знал, что мы с ним работали.

Он встал.

Подошёл к своей койке, поднял матрас и вынул из-под него свёрток в тряпице.

И положил передо мной.

Я развернул.

Внутри лежали очки.

Простая железная оправа. Одна дужка примотана ниткой — чёрной, суровой, в четыре витка, и узел завязан аккуратно, на два раза.

Правое стекло было треснуто наискось.

— Он их с тридцать девятого носил, — выговорил Панкратов. — И дужку эту сам мотал, я видел два раза.

Я сидел и держал их в руках.

И вспоминал, как в феврале, в лагере номер сто шестьдесят восемь, я вошёл в комнату три на четыре, увидел на человеке ровно такие же очки с ниткой на дужке — и у меня внутри всё оборвалось, и я тогда не понял почему.

Теперь понял.

— Николай Фёдорович, а почему вы их три года держали? — не понял я.

— А кому отдавать? — не понял он. — Родных у него нет, я спрашивал. В отдел сдать — их спишут и выбросят.

Он сел.

— Я их держал тебе, Пётр. Только я не знал, живой ты или нет, и адреса у меня не было.

Я завернул очки обратно в тряпицу и положил в нагрудный карман.

— Спасибо вам, Николай Фёдорович.

— Не за что, — отрезал он. — Ты мне лучше вот что пообещай.

— Обещаю, а что?

Панкратов поглядел на меня через стол.

— Ты того, кто эту водокачку под Ковелем ставил, найди, — распорядился он. — И в глаза ему погляди. И мне напиши, что поглядел.

Я сидел в сторожке, в Вязьме, в апреле сорок седьмого года, и в кармане у меня лежали очки капитана Северцева.

И я знал, что человек, поставивший заряд в будке под Ковелем, сидит в ста двадцати километрах от моего рабочего стола, пишет карандашом по восемь часов в день и через неделю спросит меня про объект девяносто восемь.

— Найду, Николай Фёдорович, — пообещал я. — И напишу.

Врать ему было нельзя.

А сказать правду я не мог, потому что правда была такая: я его уже нашёл, я с ним работаю, и я ему вчера чуть не пообещал, что возьму его в комнату, где будут допрашивать его ученика.

***

На станцию он меня проводил.

Шёл медленно, останавливался два раза и оба раза делал вид, что поправляет шапку.

У вагона обнял.

— Пиши, Пётр, — попросил он. — Я тут восемь лет сидеть буду, никуда не денусь.

— Буду писать, обещаю.

— И вот ещё что, — он придержал меня за рукав. — Ты про тот пиджак с мозолью подумай хорошенько.

— Я про него всю ночь думал, Николай Фёдорович.

— Ты не думай, ты вот что сообрази, — старшина поглядел на меня снизу вверх, потому что за три года он стал ниже. — Он ведь ко мне зачем приезжал? Он приезжал узнать, что на стене написано.

Он отпустил рукав.

— А знаешь, что это значит?

— А что это значит?

— Что он те надписи не читал, — подытожил Панкратов. — Он про них знает, а прочитать не может.

***

Поезд тронулся.

И я стоял в тамбуре и глядел, как он уходит по перрону — узкий, в ватнике, с правым плечом ниже левого, — и думал над тем, что он мне выговорил напоследок.

Человек ездит по Смоленщине и ищет, что было написано на стенах.

Он знает про надписи.

Он не может их прочесть.

А ставит он при этом жестяные банки на подкладной доске со снятой фаской, и ставит их сейчас, в мирное время, на огородах, где ходят дети.

Глава 5

Крутову я доложил семнадцатого апреля, в четверг, и доложил не в комнате двадцать два, а в скверике на площади Свободы, на лавке, потому что он сам так назначил.

Сидели мы там сорок минут.

Он слушал, глядя перед собой, и за все сорок минут задал четыре вопроса.

— Мозоль поперёк ладони под пальцами, — повторил он, когда я кончил. — Панкратов уверен?

— Панкратов двадцать лет до войны работал в кузнице, — подтвердил я. — Он в мозолях разбирается лучше, чем я в минах.

— Хорошо. Второе: он сказал «лет сорока, может, чуть больше».

— Так и сказал, слово в слово.

Крутов достал папиросы и закурил, и я в первый раз за два года увидел, как он курит.

— Пётр Андреевич, вы понимаете, что это значит по возрасту?

Я считал это ещё в поезде.

— Понимаю, товарищ подполковник. Если ему в сорок шестом было сорок, то в сорок первом было тридцать пять.

— И что из этого?

— Из этого то, что он не мальчик, — я поглядел на голые липы. — Мальчика можно завербовать, обучить и бросить. Тридцатипятилетний мужик с мозолями от кувалды — это специалист, которого выбрали за то, что он уже что-то умеет.

Крутов стряхнул пепел.

— Что у вас дальше? — потребовал он.

— Дальше вот что, — продолжил я. — Он ездит открыто, с документами, и расспрашивает демобилизованных. Значит, документы у него настоящие или очень хорошие.

— Или он ездит по своей линии, — не принял он возражения. — Пётр Андреевич, вы думаете как сапёр: раз ходит с бумагой, значит, кто-то бумагу дал. А бывает проще. Бывает, человек ездит по снабженческой надобности и между делом спрашивает.

Он бросил папиросу и растёр каблуком.

— Артельный агент. Заготовитель. Такие в сорок шестом по всей Смоленщине ездили стадами, и у всех документы, и у всех пиджак.

Я об этом не подумал.

— Товарищ подполковник, а мозоль?

— А мозоль от того, что человек до войны работал руками и после войны работает руками, — он встал. — Пётр Андреевич, я с вами не спорить пришёл. Я вам показываю, что версий тут три, а не одна, и что хвататься за первую — это дурная привычка.

Он поглядел на меня сверху.

— Вязьма, июль сорок шестого. Я проверю все командировочные по Вяземскому району за тот месяц. Их там будет штук четыреста.

— И вы их все поднимете? — не поверил я.

— Я их подниму, — подтвердил он. — Не за неделю. За месяц или за два.

Он застегнул шинель.

— А вы работайте своё. И вот что, Пётр Андреевич.

— Слушаю вас.

— Про надписи, — он поглядел на меня. — Вы четыре года их таскаете в голове и никому не отдали, включая меня. Я вас за это, честно говоря, уважаю.

Он помолчал.

— Но теперь придётся отдать. Потому что человек с мозолью ищет именно их, а я не знаю, что в них.

***

В лагерь я приехал восемнадцатого, в пятницу, в девять двадцать.

Хальм работал.

Он поднял голову, отодвинул чернильницу к краю — вместо «здравствуйте» — и придвинул ко мне лист.

— Товарищ младший лейтенант, объект девяносто восемь. Я имею затруднение.

Я сел.

И вместо тетради положил на стол свёрток в тряпице.

Хальм поглядел на свёрток.

— Это не объект.

— Это не объект, — согласился я. — Вы разверните.

Он развернул.

И очень долго глядел на очки капитана Северцева, лежащие на его канцелярском столе между стопкой исписанных листов и стопкой чистых.

Потом снял свои.

И положил рядом.

Две пары железных очков, и у обеих дужка примотана ниткой, только у Северцева нитка чёрная, а у него — серая, суровая, из тех, какими в лагере подшивают.

— Чьи это? — уточнил он.

— Капитана Северцева. Инженерный отдел пятьдесят седьмой армии.

Хальм не двинулся.

— Того самого, который приехал на хутор в июне сорок третьего года?

— Того самого, Хальм.

— Он погиб.

— Он погиб восемнадцатого июля сорок четвёртого года, под Ковелем, — я поглядел на него. — Железнодорожная ветка, водокачка при ней и будка. Он снял первый заряд, вышел доложить, потом вернулся посмотреть, чисто ли.

Я замолчал.

Хальм сидел совершенно неподвижно, и руки у него лежали на столе ладонями вниз.

— Говорите дальше, — потребовал он.

— Дальше он сделал два шага.

В комнате стало тихо.

Я слышал печку, машинку за стеной и ещё, кажется, собственное сердце.

Хальм медленно поднял руку и взял свои очки со стола, но надевать не стал.

— Ковель, — выговорил он. — Железнодорожная ветка на север от станции. Водокачка и при ней будка обходчика из силикатного кирпича.

Он поглядел на меня.

— Объект девяносто шесть в моём списке. Я поставил его двадцать второго октября сорок третьего года.

— Вы его помните точно? — уточнил я.

— Я его помню полностью, — подтвердил он. — Я его вам описывал одиннадцатого марта, и вы его записали, и вы тогда не знали, что это он.

Он положил очки.

— Первый заряд в приямке под насосом. Двенадцать килограммов, механизм на двенадцать месяцев. Второй заряд под порогом, между будкой и путями, на нажимном датчике. Тридцать килограммов.

Он поглядел на меня.

— Под порогом. Потому что человек, снявший первый, выходит из будки и останавливается за порогом, чтобы позвать остальных.

Я сидел и молчал.

Потому что я это уже знал.

Я записал это одиннадцатого марта под его диктовку, я выправил это набело в тот же вечер в общежитии на Советской, и я отправил это в Волынское управление вместе с восемнадцатью другими описаниями.

И всё это время я не знал, что переписываю своей рукой то, что убило Северцева.

— Товарищ младший лейтенант.

— Слушаю вас.

— Вы мне это принесли, чтобы я понял, — начал Хальм. — Я понял. Но вы мне не сказали главного, а я не имею права спрашивать.

Он надел очки.

— Вы теперь ко мне будете относиться иначе?

Я поглядел на две пары очков на столе.

И ответил честно, потому что врать ему смысла не было — он это видел насквозь, как видел трещину в стяжке.

— Хальм, я вам скажу так, — начал я. — Я к вам с первого дня отношусь одинаково. Я не могу вас ненавидеть в рабочее время, потому что в рабочее время вы мне даёте объекты и спасаете этим людей.

Я подвинул к себе тетрадь.

— А ненавижу я вас с восьми вечера до полуночи, у себя в общежитии, когда переписываю набело. И это, гауптман, происходит каждый день, и я к этому привык.

Хальм выслушал, не шевелясь.

— Это правильный порядок, — подытожил он наконец. — Я имею такой же.

— У вас тоже есть часы, в которые вы себя ненавидите? — не понял я.

— Нет, — не согласился он. — У меня есть часы, в которые я считаю.

Он отодвинул свои очки на край стола.

— С одиннадцати до двенадцати ночи. В бараке гасят в двадцать три. Я лежу и считаю: сколько объектов я отдал и сколько осталось.

Он поглядел на меня.

— Двадцать второго октября сорок третьего года я поставил объект девяносто шесть. Восемнадцатого июля сорок четвёртого года на нём погиб человек, которого вы знали. Одиннадцатого марта сорок седьмого года я его отдал вам.

Он сложил руки.

— Между постановкой и отдачей — три года и пять месяцев. Между постановкой и его смертью — восемь месяцев. Я не успел на два года и девять месяцев.

Он помолчал.

— Вот это я и считаю каждую ночь. Не вину. Разницу во времени.

Очки Северцева я забрал и положил обратно в карман.

А потом достал книжку, открыл на чистой странице и спросил то, ради чего, собственно, ехал.

— Хальм, теперь про надписи, — начал я.

Он поднял голову.

— Про какие надписи?

— Про те, которые вы писали углём. На стенах, у входа, на балках. Я их читал четыре раза, и последний раз — на хуторе в июне сорок третьего.

Хальм долго молчал.

И вот тут он в первый раз за два месяца сделал то, чего не делал никогда: он встал из-за стола и прошёлся по комнате.

Три шага к двери, три обратно.

— Товарищ младший лейтенант, вы их запомнили? — уточнил он.

— Я их запомнил дословно, все до одной.

— Все четыре?

— Все четыре, — подтвердил я. — И я их четыре года никому не показывал.

Он остановился.

— Прочтите мне ту, что на хуторе.

Я закрыл книжку.

И прочёл наизусть — по-немецки, как было написано углём на кирпичной кладке над входом в погреб, крупными печатными буквами, в две строки.

Он выслушал.

И сел обратно за стол, и снял очки, и стал протирать их рукавом, и делал это минуты полторы.

— У вас хорошее произношение, — заметил он наконец. — Где вы учили язык?

— Хальм, я задал вопрос.

— Я помню ваш вопрос, — не принял он возражения. — Я собираюсь на него ответить, и я собираюсь ответить полностью, но мне нужно начать с другого места.

Он надел очки.

— Вы знаете, что такое служебная маркировка?

— Знаю, мы её тоже ставили.

— Тогда вы знаете, что она ставится по инструкции, — он придвинул чистый лист и стал чертить. — Номер части, дата, вес, вид заряда. Ставится в укрытом месте, чтобы свои могли снять при возвращении.

Он нарисовал квадрат и вписал в него цифры.

— Вот это половина того, что я писал. Это обязательная часть, и она была на всех ста семнадцати объектах.

— А что было во второй половине? — уточнил я.

Хальм положил карандаш.

— А вторая половина не была предусмотрена никакой инструкцией, — признал он. — И за неё меня могли отдать под суд, если бы кто-нибудь заметил.

Он поглядел на меня.

— Её никто не заметил за три года. Заметили вы.

Я сидел и молчал.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясню, а вы решите, верить или нет, — начал он. — В сорок втором году я поставил свой двенадцатый объект. Мост через приток, небольшой, деревянный.

Он стал чертить дальше.

— И когда я его закончил, я сел на насыпи и сообразил одну вещь, которую до того не сообразил ни разу.

— Какую именно вещь? — не понял я.

— Что этот мост будет стоять дольше, чем война.

Он поглядел на чертёж.

— Я поставил механизм на восемнадцать месяцев. Восемнадцать месяцев — это много. За восемнадцать месяцев сменится всё: фронт, армия, страна. А заряд останется.

Он положил карандаш вдоль края листа.

— И я подумал: кто будет его снимать?

Он поглядел на меня.

— И ответил себе: сапёр. Не солдат, не офицер, не начальник. Сапёр, которого сейчас, может быть, ещё не призвали. Может быть, ему сейчас пятнадцать лет и он ходит в школу.

Хальм сложил руки.

— Вот этому человеку я и стал писать.

Я сидел за канцелярским столом в комнате три на четыре и глядел на него.

— Хальм, вы хотите сказать, что вы писали тому, кто будет снимать?

— Я хочу сказать именно это, — подтвердил он. — Я писал не своим и не вашим. Я писал специалисту, который придёт после и который один поймёт, что там сделано.

Он поглядел в окно.

— Мы с ним никогда не встретимся. Между нами будет пять лет, или десять, или тридцать. Но он придёт, и он будет стоять там же, где стоял я, и он будет думать то же самое, что думал я.

Он повернулся ко мне.

— Мы с ним не враги. Мы с ним коллеги, разделённые временем.

Я записал это слово в книжку.

Разделённые временем.

— У этого есть название? — уточнил я.

Хальм подумал.

— Названия не было, — выговорил он. — Я его придумал для себя и никому не говорил.

Он взял карандаш и написал на чистом листе одно слово.

И повернул лист ко мне.

«Zeitmänner».

— Люди времени.

— Люди времени, — подтвердил он. — Это плохое слово, оно составлено неправильно, но другого у меня нет.

Он забрал лист обратно.

— Вы один из них. И тот, кто найдёт мой сто семнадцатый объект в тысяча девятьсот семидесятом году, тоже будет одним из них.

Я сидел и слушал это.

И у меня в голове стояло то, чего я не мог ему сказать: что я снимал немецкие заряды в двухтысячных годах, что через шестьдесят лет их всё ещё будут находить, и что он сейчас, в лагере номер сто шестьдесят восемь, угадал это точнее, чем всё наше управление вместе с Москвой.

— Хальм, а что вы им писали? — поинтересовался я.

Он ответил не сразу.

— Разное, — признал он. — На первых объектах — предупреждение. Я писал: здесь второй заряд, ищи ниже. Потом я перестал так писать.

— А почему перестали? — не понял я.

— Потому что это была измена, — он выговорил это спокойно. — Прямое предупреждение противнику. Если бы это прочли мои, меня бы повесили в тот же день.

Он поглядел на меня.

— И я стал писать иначе. Я стал писать так, чтобы понял только тот, кто уже стоит внутри объекта и уже видит, как он устроен.

— То есть загадками? — переспросил я.

— Не загадками, — поправил он. — Профессиональными указаниями. Человеку со стороны это ничего не говорит. Сапёру говорит всё.

Я открыл книжку.

И прочёл вторую надпись — ту, что была на балке в сарае под Кромами, в августе сорок третьего.

Хальм выслушал и покивал.

— Вы её тогда поняли?

— Я понял, что это счёт, — признал я. — Только я не понял чего.

— Это счёт шагов от левого столба, — он взял карандаш. — Я писал цифру, а рядом ставил знак, который у нас означал глубину заложения. Тот, кто внутри, поймёт, что это привязка.

Он поглядел на меня поверх очков.

— А тот, кто снаружи, прочтёт число и решит, что это дата.

— Хальм, а третью я вам прочту сам, и вы мне скажете, прав я или нет.

Он отодвинул бумаги.

— Читайте, я слушаю.

Третья надпись была на кирпичной перемычке в подвале маслозавода под Севском, в октябре сорок третьего, и я тогда провозился с ней полночи, а понял только через год.

Я прочёл.

Хальм выслушал и поглядел на меня с чем-то, чего я на его лице раньше не видел.

— И что вы поняли?

— Я понял через год, — признал я. — Там стоит слово, которое означает не «низ», а «под уровнем воды». Это строительный термин, его в сапёрном деле не употребляют.

— И что было дальше? — не отпустил он.

— А дальше я сообразил, что на маслозаводе был бассейн отстойника, и его залило в сорок первом, — я поглядел на него. — И что второй заряд стоял не под полом, а под водой, в бетонной опоре, и что искать его надо было после откачки.

Хальм положил обе ладони на стол.

— Вы его нашли?

— Не я. Я написал в управление, и его нашли в мае сорок четвёртого, когда откачали.

Он молчал секунд пять.

— Товарищ младший лейтенант, я вам сейчас скажу профессиональную вещь, и вы не обижайтесь, — начал он. — Я эту надпись писал три вечера. Я подбирал слово так, чтобы его понял строитель и не понял солдат.

Он поглядел на меня.

— Её прочли за одну ночь, и прочёл её человек, которому по бумаге было двадцать лет.

Он снял очки.

— Я до сегодняшнего дня полагал, что я один такой. Это было неприятно понять.

— А четвёртую я не понял вовсе, — признал я.

— Какую четвёртую?

Я прочёл четвёртую.

Она была короткая, в одну строку, и я нашёл её в декабре сорок третьего на цоколе водонапорной башни в Клинцах, и она отличалась от всех остальных тем, что была написана не углём, а прочерчена гвоздём по штукатурке.

Хальм слушал.

И по мере того как я читал, у него менялось лицо.

Когда я кончил, он снял очки, положил их на стол и поглядел на меня так, будто увидел в первый раз.

— Товарищ младший лейтенант, повторите ещё раз, медленно.

Я повторил.

— Вы уверены, что именно эти слова?

— Я её срисовал в тетрадь в тот же день, — подтвердил я. — Знак в знак, с наклоном букв.

Хальм встал.

И опять прошёлся по комнате — три шага к двери, три обратно, и на обратном пути остановился у печки и постоял к ней спиной.

— Это писал не я, — выговорил он.

Я медленно положил перо на стол.

— Как это не вы?

— Так это, что я в Клинцах не работал ни одного дня, — он повернулся. — Клинцы — это Брянская область, юг. Мой участок в декабре сорок третьего был западнее на двести километров.

Он подошёл к столу.

— И я никогда не писал гвоздём. Я писал углём, потому что уголь можно стереть рукавом, если войдёт начальник.

Он сел.

— Товарищ младший лейтенант, кто-то писал такие же надписи на моём участке и рядом с ним.

Я сидел и считал.

Декабрь сорок третьего года.

Февраль сорок четвёртого года — Хальм понял, кого ему прислали.

Между этими двумя датами было два месяца.

— Хальм, а ученик появился когда?

— В конце января сорок четвёртого, — отозвался он. — Приказ пришёл двадцать шестого.

— А до января он где был?

Хальм поглядел на меня.

И я увидел, как он это соображает — быстро, в три хода, как соображал всё.

— До января он был там же, — выговорил он. — Просто не у меня.

Он придвинул к себе чистый лист.

— Товарищ младший лейтенант, я имею вопрос, и он неприятный. Вашу четвёртую надпись вы читали в декабре. Мою третью вы читали в октябре.

— Так оно и было.

— Между ними два месяца, — он стал чертить. — За два месяца человек научился писать так же, как пишу я.

Он поднял голову.

— Это значит, что он читал мои раньше, чем я его увидел.

***

Мы работали в тот день до пяти.

Он отдал мне девяносто восьмой и девяносто девятый, и оба легли ровно, без затруднений, и я понял, что он выкладывается, потому что ему нужно было чем-то заполнить то, что случилось утром.

А в половине пятого он отложил карандаш.

И выговорил то, ради чего, наверное, и был весь этот день.

— Товарищ младший лейтенант, я должен вам сообщить одну вещь, — начал он. — Я думал про неё два месяца и решил только сегодня, когда вы положили на стол очки.

Я закрыл тетрадь.

— Сообщайте, я записываю.

— На одном объекте я написал то, чего писать не имел права даже по своим меркам, — признал он. — Не указание. Не предупреждение. Другое.

— Что именно вы там написали? — не понял я.

Хальм снял очки.

— Я написал там фамилию человека.

Я положил перо.

— Чью именно фамилию? — переспросил я.

— Того, про кого вы меня не спрашиваете уже месяц, — выговорил он. — Я заметил, что вы не спрашиваете. Я понял, почему вы не спрашиваете. И я решил, что раз вы не спрашиваете, то я скажу сам.

Он поглядел на меня.

— Я написал фамилию своего ученика.

В комнате стало очень тихо.

— Зачем вы её написали? — не понял я.

— Затем, что в феврале сорок четвёртого года я понял, кого мне прислали, — выговорил он. — И понял, что доложить я не могу, потому что его прислали из Бреслау и приказ подписал не мой начальник.

Он положил очки на стол.

— И тогда я сделал единственное, что мог сделать инженер. Я оставил запись.

Он поглядел на меня.

— На стене. Углём. В расчёте на то, что через десять лет кто-нибудь спустится туда с фонарём и прочтёт.

Я сидел и глядел на него.

— Хальм, а где этот объект? — уточнил я.

Он молчал секунд десять.

— Вот это и есть моя главная беда, товарищ младший лейтенант, — признал он. — Он в тех сорока одном, которые я помню приблизительно.

Он надел очки.

— Я помню стену. Я помню, чем писал. Я помню, что писал.

Он поглядел мне в глаза.

— Я не помню, где эта стена.

Мы просидели над этим до половины седьмого, и сержант за дверью два раза напоминал про режим, и оба раза я отправлял его к начальнику лагеря.

Потому что задача была ровно та, которую я умею решать.

— Хальм, будем сужать, — начал я. — Вопрос первый: вы его написали до февраля сорок четвёртого или после?

Он подумал.

— После. В феврале или в марте.

— Почему не раньше? — не понял я.

— Потому что раньше я не знал, кто он, — уточнил он. — Я это понял в феврале.

Я записал.

— Тогда второй вопрос. С февраля по апрель сорок четвёртого вы работали где?

Хальм закрыл глаза.

И сидел так секунд двадцать, и я не мешал, потому что за два месяца выучил: когда он закрывает глаза, он идёт по дороге от того места, где стояла машина.

— Три участка, — выговорил он наконец. — Первый — юго-западнее Минска, вдоль шоссе. Второй — Барановичи и к югу. Третий — Пинское направление, но там я был неделю и поставил мало.

— Сколько объектов на все три участка? — уточнил я.

— Двадцать два.

Я записал и подчеркнул.

— Из этих двадцати двух сколько в сорока одном приблизительном?

Хальм открыл глаза.

И вот тут я увидел, как он понимает, что я делаю.

— Из них четырнадцать.

— Уже лучше, — я подвинул к себе чистый лист. — Теперь третий вопрос, и он главный. На чём вы писали?

— Я не понял вашего вопроса, — признал он.

— На какой поверхности, — пояснил я. — Вы говорите: я помню стену. Какая стена? Кирпич, бетон, штукатурка, бревно?

Хальм замер.

И я по лицу увидел, что попал.

— Бетон, — выговорил он. — Гладкий бетон, серый, с раковинами. Я помню, что уголь шёл плохо и я дважды его обламывал.

Я записал.

— Отлично. Из четырнадцати сколько с бетонными стенами?

Он стал перебирать в памяти, шевеля губами, и я видел, как он проходит их одну за другой.

— Шесть, — подытожил он. — Может быть, семь. Один я не помню по материалу.

Четырнадцать стало семью.

— Хальм, четвёртый вопрос. Надпись была высоко или низко?

— Она была на уровне глаз, — отозвался он.

— Ваших глаз или глаз человека, который войдёт?

Он поглядел на меня.

И снял очки.

— Товарищ младший лейтенант, это очень хороший вопрос, — признал он. — Я писал стоя на коленях.

— Почему на коленях? — не понял я.

— Потому что там было низко, — он показал ладонью над столом. — Я не мог встать в полный рост.

Я отложил перо.

— Тогда это не подвал.

— Почему это не подвал? — не понял он.

— Потому что в подвале не бывает бетонных стен с раковинами и потолка в метр двадцать, — я пододвинул к нему лист. — А вот в чём бывает?

Хальм поглядел на лист.

И выговорил то, что я уже знал.

— В доте, — отозвался он. — Или в бетонной трубе под насыпью.

Он надел очки.

— Это дот. Я вспомнил. Это был наш дот, оставшийся от сорок первого года, и мы его использовали как готовое укрытие.

Из семи стало два.

Я записал оба, поставил дату и расписался, и Хальм поглядел на эту подпись с таким выражением, какого я у него ещё не видел.

— Товарищ младший лейтенант, мы за час сделали то, чего я не мог сделать два месяца.

— Вы это могли, — не согласился я. — Вы просто спрашивали себя «где», а спрашивать надо было «на чём».

Он покивал.

— Это у вас метод.

— Это метод, — подтвердил я. — Он не мой, я его тоже у кого-то взял.

***

В общежитие я вернулся в десятом часу.

Дорохов уже спал, и я не стал зажигать лампу — сел к окну, к свету с улицы, и достал тетрадь.

Ту самую, в клеёнчатом переплёте, с загнутым углом.

Я открыл её на странице, где были срисованы четыре надписи, и долго глядел на четвёртую, прочерченную гвоздём по штукатурке цоколя водонапорной башни в Клинцах, в декабре сорок третьего года.

Тогда я решил, что это Хальм.

Четыре года я считал, что это Хальм, и по этой надписи я в сорок четвёртом вычислил три объекта, и все три оказались верны.

А сегодня выяснилось, что писал её человек, который сейчас ездит по Смоленщине в пиджаке и сапогах и спрашивает у старых сапёров, что было написано на стенах.

Я перевернул страницу и стал писать письмо Панкратову.

Написал, что доехал, что на работе всё по-прежнему, что очки лежат у меня в кармане и что я его просьбу помню.

А про то, что человека, поставившего водокачку под Ковелем, я нашёл ещё в феврале, писать не стал.

Потому что я обещал поглядеть ему в глаза и написать, что поглядел.

А я глядел ему в глаза восьмой час подряд, шесть дней в неделю, второй месяц — и ничего от этого не менялось ни у меня, ни у него, ни у капитана Северцева, которого собирали двое суток и собрали не всего.

Я дописал письмо, заклеил и положил на подоконник, чтобы утром бросить в ящик на вокзале.

А потом сел и составил на отдельном листе то, что должно было уйти Крутову.

Получилось шесть пунктов.

Первый: в декабре сорок третьего года на юге Брянской области работал человек, писавший надписи по методу Хальма, но гвоздём и по штукатурке.

Второй: этот человек к Хальму в тот момент отношения не имел и попал к нему только в конце января сорок четвёртого, по приказу из Бреслау.

Третий: следовательно, он читал надписи Хальма до того, как с ним познакомился, — то есть кто-то давал ему доступ к чужим объектам.

Четвёртый: в феврале или марте сорок четвёртого Хальм оставил на стене дота его фамилию.

Пятый: объектов, подходящих под описание, два, оба в районе Барановичей.

Шестой я писал дольше всех пяти вместе.

«Считаю необходимым выезд группы на оба объекта с моим участием. Предполагаю, что объект, на котором сделана запись, не разминирован, поскольку в списках управления за 1944–1946 гг. не значится».

Я перечитал шестой пункт и приписал ещё одну строку, уже совсем от себя.

«Запись выполнена углём на бетоне. Пролежала три года. Читать её надо сейчас».

Сложил лист вчетверо и убрал в нагрудный карман, к очкам.

За окном по Советской прошла полуторка, и фары на секунду выхватили стену дома напротив — ободранную, с остатками довоенной вывески.

На этой стене тоже что-то было написано мелом в сорок четвёртом, и надпись почти сошла, и разобрать можно было одно слово: «проверено».

Я поглядел на него и лёг спать.

Глава 6

Разрешение на выезд Крутов провёл за девять дней, и это был, насколько я понимаю, рекорд.

Он вызвал меня двадцать девятого апреля и положил на стол два листа.

— Пётр Андреевич, читайте и запоминайте, потому что с собой вы их не возьмёте.

Я прочёл.

Первый лист был предписание за подписью Астахова: выезд инженерной группы в Барановичский район с шестого по двадцатое мая, задача — обследование двух объектов по данным военнопленного Хальма.

Второй был короче и без штампа.

«Объект 2 (дот у переезда, 4 км сев.-зап. дер. Застаринье) в списках разминирования 1944–1946 гг. не значится. Объект 1 (дот при бывш. складе ГСМ) проверен в октябре 1944 г., заключение: чисто».

— Чисто, — повторил я вслух это слово.

— Вот именно, — собеседник кивнул. — Пётр Андреевич, я вам эту строчку показываю не для сведения. Я вам её показываю, чтобы вы поехали туда с правильной головой.

Он забрал листы.

— В сорок четвёртом году по этому району прошли за два месяца и закрыли триста объектов. Вы понимаете, как они их закрывали?

— Понимаю, товарищ подполковник. Обошли, простучали, расписались.

— Обошли, — согласился он. — Люди были после наступления, половина необученные, сроки — от Москвы. И я вам скажу прямо: половина тех «чисто» я бы не подписал.

Он убрал листы в стол.

— Поэтому первый объект вы проверите так, будто в нём точно что-то есть.

***

Выехали шестого мая.

Группу дали из Барановичского отряда: старший лейтенант Чумак, тридцати двух лет, местный, из-под Слуцка, и с ним шестеро. Плюс Дрозд, которого я выпросил у Гомельского отряда через Астахова, и с ним Никифоров и Сазонов.

Сазонова я запросил лично, и Астахов на меня за это поглядел.

— Ковалёв, вам этот мальчик зачем?

— Затем, что он однажды уже отошёл на два шага, — пояснил я. — Такие потом работают лучше всех.

Дрозд, когда я его встретил на станции в Барановичах, поглядел на меня и хмыкнул.

— Ковалёв, а вы, оказывается, злопамятный.

— В каком это смысле злопамятный? — не понял я.

— В хорошем, — он поставил чемоданчик. — Вы человека один раз за ремень вытащили и теперь его всю жизнь за этот ремень водить будете.

Сазонов за зиму вырос.

Не ростом — он и так был длинный. Шинель на нём была уже не новая, на левом рукаве стояла аккуратная штопка, и планшет он больше не носил на груди, а перекинул назад, как носят те, кому приходится ложиться.

И сел он в машину не первым.

Он сел последним, с той стороны, откуда видно дорогу.

Я это заметил и ничего не сказал.

Первый объект стоял в шести километрах от Барановичей, у бывшего склада горюче-смазочных материалов, от которого остались только бетонные основания цистерн и обвалованный вал.

Дот был наш, сорок первого года.

Двухамбразурный, с тыльным входом, засыпанный до половины и заросший бузиной так, что мы его нашли только по приметам, которые дал Хальм: «сорок два шага от угла обвалования на северо-восток, вход развёрнут от дороги».

Сорок два шага.

Я отсчитал их сам, от угла вала, и вышел ровно на заросли.

— Товарищ старший лейтенант, а вы говорили, тут ничего нет, — окликнул Чумака Сазонов.

— Я говорил, что по бумаге чисто, — отрезал Чумак. — Ты бумагу с землёй не путай, ты её в руках не держал.

***

Вход мы откапывали полдня.

Работа простая и очень поганая: землю снимают понемногу, короткими штыками, и через каждые пять сантиметров прощупывают щупом, потому что немцы любили ставить на завалах входа.

К двум часам открыли проём.

Изнутри пахнуло сыростью и тем особенным холодом, какой стоит в бетоне круглый год.

Я лёг у проёма и посветил фонарём.

Потолок — метр двадцать. Стены серые, с раковинами. На полу мусор, тряпьё, стреляные гильзы наших трёхлинейных патронов и немецкие сигаретные пачки.

И кострище посередине.

— Товарищ капитан, тут жили, — доложил я.

Дрозд подошёл и лёг рядом.

— И когда тут жили? — уточнил он.

— Не знаю, — признал я. — Костёр старый, зола слежалась.

— Партизаны тут стояли? — уточнил он.

— Или просто люди, — я повёл фонарём. — Тут в сорок четвёртом деревни выжгли, народ по зиме где попало жил.

Я поглядел на кострище ещё раз.

И мне стало нехорошо.

Потому что если тут жили люди после того, как Хальм поставил заряд, то заряд либо снят, либо не сработал, либо стоит там, где человек не ходит.

А человек в тесном доте ходит везде.

***

Работали мы в доте до вечера и весь следующий день.

Заряд был.

Он стоял в тыльной стене, в нише за бетонной заплатой, и заплата была сделана так хорошо, что Дрозд, простучав стену дважды, оба раза её пропустил.

Нашёл я её по раковинам.

Бетон сорок первого года был литой, с воздушными раковинами по всей поверхности — мелкими, частыми, как оспины. А на участке сорок на шестьдесят сантиметров раковины кончались.

Заплата была из раствора, и раствор был плотнее.

— Товарищ капитан, дайте мне свет сбоку.

Никифоров подвёл фонарь под углом.

И на стене проявилось то, чего не видно при прямом свете: прямоугольник с чуть иной фактурой, аккуратно затёртый по краям и присыпанный, пока не схватился, бетонной пылью.

Дрозд поглядел на это молча.

— Он его ещё и запылил, — подытожил он наконец.

— Он его запылил, пока раствор был мокрый, — поправил я. — Чтобы фактура совпала.

Чумак, который стоял снаружи и слушал через проём, выругался.

— Товарищ младший лейтенант, а вы говорите, он инженер.

— Он инженер и есть, товарищ старший лейтенант.

— Инженер, — повторил Чумак. — У меня такого инженера в сорок четвёртом взвод бы неделю искал и не нашёл.

***

Разбирали мы заплату четыре часа.

И когда открыли, я понял, почему тут могли жить люди и не взлететь.

Заряд был мёртвый.

Двадцать четыре килограмма, механизм замедления на восемнадцать месяцев, поставлен, судя по всему, в марте сорок четвёртого. Ампула лопнула, кислота вытекла, проволока перегорела полностью — и боёк дошёл.

Дошёл и встал.

Капсюль-детонатор отсырел.

Одна-единственная причина: в дот всю весну сорок пятого шла вода, и отсырело гнездо.

— Товарищ младший лейтенант, а это значит что? — окликнул Сазонов от проёма.

Я поглядел на боёк, стоявший вплотную к капсюлю.

— Это значит, что он сработал, — отозвался я. — Только не взорвался.

Никифоров за спиной перекрестился, и я сделал вид, что не заметил.

Надписи в первом доте не было.

Была маркировка: номер, дата, вес, вид заряда — всё по инструкции, углём, на левой стене у входа, в тридцати сантиметрах от пола.

Я стоял на коленях и светил на неё минут десять.

Почерк был его. Тот самый: печатные буквы, наклон вправо, цифра «семь» с перечёркиванием.

Ничего больше.

Я обошёл весь дот по кругу, простучал каждую стену, посветил в каждый угол и под конец даже выгреб кострище, потому что мало ли.

Ничего.

Вечером, в избе под Барановичами, Сазонов подсел ко мне с блокнотом.

— Товарищ младший лейтенант, я записал и не понял. Объясните?

— Чего ты не понял? — уточнил я.

— Вы по раковинам нашли, — он показал свою запись. — А как вы догадались на раковины смотреть?

Я подвинул к себе его блокнот.

— Сазонов, а ты знаешь, чем литой бетон отличается от раствора?

— Наверное, составом.

— Составом тоже, — согласился я. — Но главное — воздухом. Литой бетон трамбуют, и в нём остаётся воздух, потому что трамбуют плохо. А заплату мажут мастерком в четыре слоя, и воздуха в ней нет.

Я нарисовал два прямоугольника.

— Поэтому у литого поверхность рябая, а у заплаты гладкая. Понял?

— Теперь понял.

— Уверен? — не поверил я, и сам удивился, чьим голосом это выговорил. — Ты понял факт. А работает это не так.

— А что тогда работает? — не понял он.

Я отодвинул блокнот.

— Работает привычка спрашивать, почему тут не так, как везде, — я поглядел на него. — Ты в дот вошёл и увидел стену. А я вошёл и увидел, что на стене есть место, где нет оспин.

Сазонов подумал.

— Товарищ младший лейтенант, а как эту привычку наживают?

— Плохо наживают, — признал я. — У меня она от того, что я один раз пропустил.

Он поглядел на меня и не стал спрашивать, что было, когда я пропустил.

Вот за это я его и запрашивал у Астахова.

Второго объекта мы в тот день не увидели.

К деревне Застаринье вела единственная дорога, и по весне она стояла под водой на протяжении километра.

Пришлось обходить.

Обошли на другой день, пешком, с людьми из деревни, и провожатый — дед Игнат, лет семидесяти, в брезентовом плаще — привёл нас к переезду в третьем часу.

Переезда не было.

Была насыпь, с которой в сорок четвёртом сняли рельсы, и просёлок, пересекавший её наискось.

И дот.

Он стоял с северной стороны насыпи, метрах в двадцати, и был виден весь: серый бетонный купол, две амбразуры, забитые землёй, и вход с тыла.

А перед входом стояла вода.

— Товарищ младший лейтенант, туда не пройдёшь, — доложил дед Игнат. — Там низина. Она у нас с апреля по июнь стоит.

Я подошёл к краю и померил щупом.

Восемьдесят сантиметров до дна.

— Игнат Семёнович, а внутри у него что?

— А внутри, милый, по горло, — он показал на себе. — Мы туда мальцами лазили в сорок шестом, до пояса было. А теперь, поди, больше.

Я поглядел на Дрозда.

Дрозд поглядел на меня.

— Ковалёв, вы соображаете, что это значит?

— Соображаю, товарищ капитан, не первый год.

Он сплюнул.

— А я вам всё равно скажу вслух, чтобы вы не обольщались. Надпись углём. Три года под водой.

Мы простояли у этого дота до темноты.

И весь вечер, в избе, где нас поместили, я считал варианты.

Вариант первый: откачать. Насос нам дадут — в Барановичском отряде есть мотопомпа, привезут за сутки. Только вода в низине стоячая и подпитывается снизу, и откачать её из дота значит откачивать всё время, пока работаешь.

Вариант второй: ждать июня, когда сойдёт само.

Вариант третий, о котором я старался не думать: надписи больше нет.

Уголь — это не краска. Уголь держится на шероховатом бетоне за счёт того, что частицы забиваются в поры. Вода его не растворяет, но вода поднимает и сносит всё, что не держится, а за три года подъёмов и спадов…

Я взял бумагу и написал расчёт.

Три года. Четыре сезонных подъёма, четыре спада. Каждый раз уровень проходит по одной и той же полосе стены дважды.

Восемь проходов.

— Ковалёв, вы спать думаете? — окликнул Дрозд с лавки.

— Не думаю ложиться, — отозвался я.

— И правильно, — он повернулся на бок. — Я в сорок четвёртом тоже не спал. Правда, я тогда был моложе и глупее, а вы сейчас старше и глупее.

— Товарищ капитан, а вы бы что делали? — поинтересовался я.

Дрозд помолчал.

— Я бы качал, — подытожил он. — Не потому, что верю. А потому, что если не качать, то вы себе этого не простите, и мне с вами потом работать.

***

Ночевали мы в Застаринье, в избе у деда Игната, и вот там я и услышал то, что потом лежало у меня в голове весь май.

Деревня была не деревня.

Из сорока двух дворов довоенных стояло девять. Остальное было поле с бурьяном и печные трубы, которые не разбирали, потому что кирпич был нужен, а рушить трубу без мужиков тяжело.

Игнат Семёнович поставил самовар и сел напротив.

— Ты, сынок, по какой части? По минной?

— По минной, Игнат Семёнович, из управления.

— А чего ж вы к нам за три года первый раз?

Отвечать на это было нечего, и я не стал выдумывать.

— Не дошли, Игнат Семёнович, — признал я. — Людей мало, а земли много.

Дед покивал.

— Оно понятно, — согласился он. — Ты не подумай, я не в упрёк. Я к тому, что мы тут сами разминировали.

— Это как же сами? — не понял я.

— А так, — он налил мне в кружку. — В сорок пятом Володька Пацук стал ходить. Он в армии был, в пехоте, до Кёнигсберга дошёл, вернулся без двух пальцев.

Игнат отхлебнул.

— Он ходил и снимал. Три года ходил.

— И много он успел снять?

— Он с поля за Долгим болотом сто с лишним штук вытаскал, — старик показал в окно. — Мы по тому полю сеем с сорок шестого. Если б не Володька, стояло бы и сейчас пустое.

Я поставил кружку.

— Игнат Семёнович, а где он теперь?

Дед поглядел на меня.

И вот по тому, как он поглядел, я уже знал ответ.

— В прошлом мае, — выговорил он. — На своей же тропке, которой год ходил. Сложил их у дуба в кучу — он их складывал, а вывозить-то некому, — и вот эта куча и пошла.

Он помолчал.

— Нашли пуговицу.

За столом стало тихо.

Сазонов сидел, опустив голову. Никифоров глядел в кружку.

— Ты не думай, мы на вас не в обиде, — подытожил Игнат. — Мы понимаем, что вас на всех не хватает. Только ты мне вот что скажи, сынок, я тебя одно спрошу.

— Спрашивайте, Игнат Семёнович.

— Володька-то правильно делал или неправильно?

Я подумал над этим вопросом дольше, чем над любым вопросом Хальма.

И ответил честно.

— Неправильно делал, Игнат Семёнович.

Дед не обиделся.

— Ну вот, — согласился он. — И я так думаю. А как правильно-то было?

— Правильно было заявку подать и ждать, — отозвался я.

— Пять лет ждать?

Я поглядел на него.

— Может, и пять, — не стал я спорить.

— А сеять что?

Вот тут я и замолчал, потому что ответа на этот вопрос у меня не было ни в сорок седьмом году, ни потом.

Игнат долил мне кипятку.

— Ты не мучайся, сынок. Я не для того спросил, чтоб тебя уесть. Я для того спросил, чтоб ты знал, как оно у нас считается.

Он поглядел в окно, на бурьян и трубы.

— У вас считается: человек погиб. А у нас считается: Володька сто гектаров поднял и на сто первом лёг.

***

Помпу привезли восьмого мая к вечеру.

Ставили её всю ночь: пришлось сколачивать настил, бить сваи из жердей и тянуть напорный рукав через насыпь, потому что сливать воду обратно в низину было бессмысленно.

Запустили в семь утра девятого мая.

Число это я запомнил отдельно, потому что был он тогда уже праздник, второй по счёту, и в Застаринье с утра у клуба играла гармонь.

А мы стояли по колено в воде у бетонного купола и глядели, как уровень падает на сантиметр в десять минут.

Часов в одиннадцать со стороны деревни пришли люди.

Сперва мальчишки, потом бабы, потом сам Игнат с двумя стариками. Встали на насыпи, метрах в семидесяти, как я велел, и стояли.

Гармонь у клуба играть перестала.

Я поглядел на них с настила и понял одну вещь, которую до того не понимал за четыре года работы.

Мы для них не сапёры.

Мы для них — те, кто наконец пришёл.

Три года они писали заявки, три года им отвечали «в плане на будущий год», три года Володька Пацук ходил по полю сам. А сегодня, девятого мая, приехали военные с машиной, поставили помпу и качают воду из дота у переезда.

И вся деревня встала на насыпи и смотрит.

— Товарищ младший лейтенант, а их не отогнать? — окликнул Чумак.

Я поглядел на насыпь.

— Пусть стоят, — распорядился я. — Только проследите, чтобы дальше жердей не шли.

— Так ведь если рванёт… — не согласился он.

— Если рванёт, там семьдесят метров и насыпь, — я снова поглядел на воду. — А отгонять их сегодня нельзя.

— А почему нельзя? — не понял Чумак.

Я подумал, как это объяснить старшему лейтенанту, который родился под Слуцком и войну прошёл от начала до конца.

И объяснил проще некуда.

— Потому что сегодня девятое мая, товарищ старший лейтенант. Пусть поглядят, как работает их заявка.

***

К полудню вода в доте опустилась до колен.

К трём часам — до щиколотки.

И всё это время я стоял у проёма и не заходил внутрь, потому что заходить было нельзя: в затопленном доте после трёх лет под водой могло быть что угодно, начиная с того же заряда с нажимным датчиком, который прекрасно работает и мокрый, если корпус герметичный.

Первым пошёл я.

Дрозд попытался спорить, и я его оборвал, чего за мной обычно не водится.

— Товарищ капитан, вы меня простите. Но там надпись, и если я её собью сапогом, никто мне её обратно не напишет.

Внутри пахло тиной.

Я полз на локтях по бетонному полу, покрытому слоем чёрного ила сантиметра в три, и светил перед собой.

Потолок метр двадцать.

Стены — гладкий серый бетон с раковинами.

Всё, как он сказал.

Я прошёл дот по кругу, вдоль стен, и не нашёл ничего: ни маркировки, ни заряда, ни ниши, ни заплаты.

И только когда развернулся и пошёл обратно, к выходу, увидел.

Надпись была не на стене.

Она была на потолке.

Точнее — на бетонной балке перекрытия, идущей поперёк над входом, с внутренней стороны, там, куда человек не смотрит, потому что человек смотрит перед собой.

Я лёг на спину в ил и посветил вверх.

И вот тут я понял, почему он писал на коленях.

Не потому, что было низко.

Потому, что он лежал на спине, как я сейчас, и писал над собой, вытянув руку.

Уголь на балке сохранился.

Он сохранился потому, что вода до балки не дошла: максимальный уровень был на ладонь ниже, и полоса этого уровня была видна на стенах отчётливо — тёмная граница, за которой бетон был чистый.

Ладонь.

Три года эта надпись держалась на расстоянии ладони от воды.

Я лежал в иле, на спине, под бетонной балкой, и читал.

Первая строка была служебная: номер, дата — 11.3.44, вес, вид заряда. Знакомый почерк, печатные буквы, семёрка с перечёркиванием.

Вторая строка была длинная.

Я прочёл её четыре раза, прежде чем позвать кого-нибудь, и при этом у меня тряслась рука с фонарём, и я её придерживал второй.

В ней было написано по-немецки следующее.

«Заряда здесь нет. Я его снял. Того, кто придёт после меня, зовут -»

И дальше шло имя.

Имя было написано латиницей и русскими буквами одновременно — сперва латиницей, потом, ниже, в скобках, кириллицей, крупно, чтобы не ошиблись.

Кириллическая строка была смазана.

Не смыта водой — смазана рукой. Кто-то провёл по ней ладонью, пока уголь был свежий, и провёл один раз, слева направо.

От неё осталась первая буква и хвост последней.

Латинская строка сохранилась полностью.

Я лежал в иле под балкой и глядел на неё, и мне было уже не холодно и не мокро, и сердце у меня стучало так, что я слышал его в затылке.

Потому что фамилия была русская.

И я её знал.

Не лично. Я знал её так, как знаешь фамилию из документа, который читал давно и не придал значения.

Я закрыл глаза и стал вспоминать, откуда.

И вспомнил через полторы минуты.

Я видел её в сорок четвёртом году, в Гомеле, в списке личного состава, который мне дали для проверки по другому поводу.

Список был не наш.

Это был список сапёрного взвода, сформированного в сорок четвёртом году из местного населения для работ по разминированию.

— Ковалёв! — заорал Дрозд снаружи. — Вы живы там?

— Жив, — отозвался я и не узнал своего голоса. — Товарищ капитан, зовите Сазонова с блокнотом. И карандаш дайте химический, не простой.

— Зачем химический?

— Затем, что простой по мокрому не пишет.

Сазонова я поставил у входа и диктовал ему двадцать минут, лёжа на спине.

Диктовал по буквам.

Он записал латинскую строку, потом первую букву кириллической и хвост последней, потом номер, дату и вес, а потом я велел ему переписать всё это второй раз, на другой лист, и второй лист отдал Дрозду.

— Товарищ капитан, спрячьте.

— А куда мне его спрятать? — не понял он.

— Куда хотите, но отдельно от первого, — я выбрался из проёма и сел на бетон. — И если со мной что случится до Минска, отвезёте лично полковнику Астахову в руки.

Дрозд поглядел на меня очень внимательно.

— Ковалёв, что там написано?

Я подумал, что ему ответить.

И сказал ровно ту часть правды, которую имел право сказать.

— Там написано, что заряда здесь нет, потому что немец его сам снял в марте сорок четвёртого года.

Дрозд помолчал.

— Сам снял, — повторил он. — Свой собственный заряд.

— Свой собственный, поставленный в марте.

— А зачем он это сделал? — не понял Дрозд.

Я поглядел на дот, на воду, на насыпь без рельсов и на просёлок, уходивший к Застарinью, где у клуба всё ещё играла гармонь.

— Затем, товарищ капитан, что ему надо было место под другое.

***

В Минск я вернулся двенадцатого мая и в тот же вечер сидел у Крутова.

Не в скверике. В комнате двадцать два.

Он прочёл оба листа — тот, что вёз я, и тот, что вёз Дрозд, — и сличил их, как сличают показания.

Потом отложил и долго молчал.

— Пётр Андреевич, латинскую строку я прочесть могу, — начал он. — Немецкого не знаю, но буквы вижу. Фамилия русская.

— Фамилия русская, это точно.

— И вы её знаете.

— Я её видел один раз, в сорок четвёртом году, в списке, — подтвердил я. — И я не помню ни имени, ни отчества, ни года рождения. Я помню только, что список был по Гомельской области и что это был взвод разминирования из гражданских.

Крутов положил ладонь на стол.

— Из гражданских, — повторил он.

— Из гражданских, товарищ подполковник. В сорок четвёртом такие взводы формировали из местных, кого не взяли в армию: подростки, женщины, мужики с ограничением по здоровью. Учили две недели и пускали на поля.

Он встал.

И подошёл к окну, и простоял там дольше, чем обычно.

— Пётр Андреевич, вы понимаете, что вы сейчас сказали?

— Понимаю, товарищ подполковник.

— Ни черта вы не понимаете, — он повернулся, и я в первый раз увидел, что Крутов может повысить голос. — Вы сказали, что человек, которого немцы готовили в Бреслау, после освобождения области пошёл к нам во взвод разминирования.

Он подошёл к столу.

— И два года ходил по полям с нашим щупом. С нашей бумагой. По нашим спискам.

Он сел.

— И имел доступ ко всему, что мы находили и что мы не находили.

Я сидел и молчал.

— Теперь вы понимаете, почему он знает про надписи? — уточнил Крутов.

— Теперь понимаю, — признал я. — Он их видел сам. На объектах, которые разминировал.

— И почему не может прочесть?

— Потому что немецкого он не знает, — я поглядел на лист. — Хальм учил его ставить заряды, а не читать.

Крутов взял оба листа и убрал в сейф.

Запер.

И повернулся ко мне, и поглядел так, как глядел когда-то, в сорок пятом, через стол в другой комнате.

— Пётр Андреевич, теперь главное, — начал он. — Списки личного состава взводов разминирования по Гомельской области за сорок четвёртый год лежат в архиве. Их там тысячи фамилий.

— Я это знаю, товарищ подполковник.

— Вы их не найдёте по памяти. Вы фамилию помните, а фамилий таких в Белоруссии сотни.

Он поглядел на меня.

— Но у нас есть человек, который эту фамилию знает целиком. С именем и с отчеством.

Я поднял голову.

— Вы хотите привезти Хальма в архив? — не поверил я.

— Я не хочу, — поправил Крутов. — Я не имею права. Военнопленного из лагеря вывозят по санкции, которую мне никто не даст.

Он сел за стол.

— Поэтому поедете вы. А он вам её назовёт.

— Он мне её не назовёт, товарищ подполковник, — не согласился я.

— Почему это не назовёт? — не понял он.

Я поглядел на него.

— Потому что он мне уже сказал, при каком условии назовёт, — признал я. — Он хочет быть в той комнате, когда мы его возьмём.

Крутов откинулся на спинку стула.

И посидел так секунд десять, глядя в потолок, и я в первый раз за два года не мог понять, о чём он думает.

— Пётр Андреевич, а вы ему что ответили?

— Ничего не ответил.

— Как это ничего?

— Так это, что я перевёл разговор на объект девяносто три, — признал я. — И мы его закрыли за сорок минут.

Крутов поглядел на меня.

И вдруг засмеялся — коротко, одним выдохом, без всякого веселья.

— Вот за это я вас двадцать один месяц и проверял, — подытожил он. — Вы ведь понимаете, что он вас на этом и держит?

— Понимаю.

— И что будете делать?

Я поглядел на сейф, в котором лежали два листа с надписью из дота у переезда, и на окно, за которым был май сорок седьмого года.

— Товарищ подполковник, я думаю, он мне её назовёт и без условия, — выговорил я.

— На каком основании вы так думаете?

— На том основании, что он два месяца считает по ночам разницу во времени, — я встал. — Между постановкой и отдачей. Он сам сказал: три года и пять месяцев, и он не успел на два года девять месяцев.

Я поглядел на Крутова.

— Ученик ставит сейчас. Не в сорок четвёртом. Сейчас.

Крутов не ответил.

Он вынул из ящика чистый бланк, взял перо и стал писать запрос в архив на списки взводов разминирования по Гомельской области за сорок четвёртый год.

А я стоял и глядел, как он пишет, и думал о том, что у нас на руках теперь есть фамилия, которую можно прочесть по-немецки и нельзя по-русски.

И что где-то между Полоцком и Орлом человек в пиджаке и сапогах ходит по деревням, садится к столу, пьёт чай и спрашивает у стариков, что было написано углём на стенах погребов и подвалов.

И старики ему отвечают, потому что он вежливый, с бумагой и потому что спрашивает про войну, а про войну у нас в сорок седьмом году отвечали всем и всегда.

Отказать человеку, который спрашивает про войну, тогда никому в голову не приходило.

Глава 7

Архив Гомельского областного управления помещался в подвале бывшего банка, и это был единственный случай на моей памяти, когда бумаге досталось помещение лучше, чем людям.

Подвал был сухой, с двумя вентиляционными коробами, с бетонным полом и стеллажами из дуба, которые пережили и поляков, и немцев, и нас.

Наверху, в операционном зале с лепниной, сидело управление.

Внизу, в сухом подвале, лежало то, за чем я приехал.

Встретила меня заведующая — Ольга Тарасовна Гаевская, лет пятидесяти пяти, в шерстяной кофте поверх платья, с пальцами, которые за двадцать лет работы с бумагой стали серыми до второй фаланги и уже не отмывались.

Она прочла моё предписание два раза.

— Взводы разминирования, — повторила она. — Сорок четвёртый год. По всей области?

— По всей области, Ольга Тарасовна.

Она положила предписание на стол.

— Молодой человек, вы представляете себе объём?

— Пока не представляю.

— Тогда я вам скажу, — она сняла очки. — Взводов было сорок семь. Списки личного состава подавались помесячно. За вторую половину сорок четвёртого года это двести восемьдесят четыре списка.

Она надела очки обратно.

— В каждом от двадцати до сорока фамилий. Итого около восьми тысяч записей, из которых примерно треть — повторы, потому что люди переходили из взвода во взвод.

Я записал цифры в книжку.

— Ольга Тарасовна, а в каком они виде?

— В разном, — призналась она. — Часть машинописью, часть от руки. Часть на обороте немецких бланков, потому что бумаги не было.

Она встала.

— Идёмте, покажу.

Стеллаж был третий от торца, и занимал он два с половиной пролёта.

Дела стояли в картонных папках, перевязанных тесьмой, и на каждой был наклеен ярлык с номером и годом.

Я поглядел на это и понял, что приехал надолго.

— Ольга Тарасовна, я могу работать здесь с утра до вечера?

— Работать вы можете с девяти до восемнадцати, с перерывом, — отрезала она. — Выносить нельзя. Копировать можно от руки, на свою бумагу. Дела выдаются по пять штук.

Она поглядела на меня поверх очков.

— И вот что, молодой человек. Руки мыть перед началом. Не потому, что я вредная, а потому, что бумага сорок четвёртого года — это не бумага, а тряпьё.

Работал я одиннадцать дней.

С девятнадцатого по тридцать первое мая, с двумя перерывами на воскресенье, по девять часов в день.

И вот что я вам скажу про эту работу.

Она была тяжелее, чем в поле.

В поле ты устаёшь телом и знаешь, за что устал. А тут ты сидишь на деревянном стуле под лампой в шестьдесят свечей, и перед тобой лежит папка, и в ней восемнадцать листов, и на

каждом листе тридцать фамилий, написанных химическим карандашом человеком, который торопился.

И ты ведёшь по ним пальцем.

Первые два дня я искал только фамилию.

Потом сообразил, что так я её пропущу, потому что глаз замыливается на третьем часу, и стал делать иначе: выписывал подряд всех, у кого фамилия начиналась на нужную букву, а вечером в общежитии перебирал выписанное.

За одиннадцать дней я выписал четыреста тринадцать фамилий.

Из них подходящих по написанию — девять.

Из девяти по возрасту подходили четыре.

А на четвёртый день я нашёл то, чего не искал, и это было хуже всего.

Я нашёл списки потерь.

Они шли отдельной подшивкой, в конце каждого дела, и назывались «Сведения о выбытии личного состава», и я в первый раз открыл такую подшивку по ошибке, думая, что это продолжение списка.

Двадцать первый взвод, Речицкий район, сентябрь сорок четвёртого года.

«Выбыло: 11 чел.»

И одиннадцать строк.

Фамилия, год рождения, дата, причина.

«Гриневич Ф. С., 1929 г. р., 4.9.44, подрыв при извлечении».

Тысяча девятьсот двадцать девятого года рождения.

Пятнадцать лет.

Я просидел над этой подшивкой сорок минут, хотя мне она была не нужна.

Двадцать первый взвод за сентябрь сорок четвёртого года потерял одиннадцать человек из тридцати четырёх. Из одиннадцати шестеро были двадцать восьмого — тридцатого годов рождения, то есть от четырнадцати до шестнадцати лет.

Причина у всех одна: подрыв при извлечении.

Их учили две недели.

Две недели — и на поле, потому что осенью сорок четвёртого надо было сеять озимые, а поля стояли минированные с сорок первого и с сорок третьего.

Я закрыл подшивку и вышел наверх покурить, хотя не курю.

Постоял во дворе банка минут двадцать.

И вернулся, и работал до шести.

***

Вечером того дня я пошёл в Гомельский отряд и нашёл Дрозда.

Он сидел в каптёрке над ведомостями и обрадовался мне так, как обрадовался бы всякий человек, которому дали повод отложить ведомости.

— Ковалёв! Вас каким ветром?

— Служебным. Я тут одиннадцатый день в архиве сижу.

Дрозд отодвинул бумаги.

— В архиве, — повторил он. — Ну и вид у вас. Вы там не спите, что ли?

— Сплю, только плохо.

Он достал флягу и два стакана.

— Рассказывайте, что нашли.

Я не мог рассказать ему про Тишина, про Бреслау и про акты, и не стал.

Я рассказал ему про двадцать первый взвод.

Про одиннадцать выбывших из тридцати четырёх за сентябрь сорок четвёртого года. Про Гриневича Ф. С., двадцать девятого года рождения. Про то, что шестерым из одиннадцати не было и шестнадцати.

Дрозд слушал и не перебивал.

Когда я кончил, он налил и выпил свой стакан один.

— Ковалёв, я вам сейчас скажу, а вы не обижайтесь, — начал он. — Вы этого не видели, а я видел.

— Чего я не видел? — не понял я.

— Как их набирали, — он поставил стакан. — Я в сорок четвёртом был инструктором на таком наборе. Две недели, Речицкий район, восемьдесят человек.

Он помолчал.

— Бабы и дети, Ковалёв. Мужиков не было вовсе, мужики были кто в армии, кто в земле.

Он покрутил стакан.

— Я им две недели читал: щуп под углом тридцать, на себя не тянуть, найденное не переносить. А потом их забрали и повезли на поля, и я их больше не видел.

— Сколько из них дожило? — уточнил я.

Дрозд поглядел на меня.

— Не знаю, — признал он. — И знать не хочу, и вы мне не говорите, если посчитаете.

Он налил по второй.

— Я вам к чему это. Вы сегодня сидели над списком и считали проценты. Не считайте.

— Почему не считать? — не понял я.

— Потому что вы их не спасёте, — отрезал он. — Они уже. А посчитаете — будете три года спать плохо.

Он выпил.

— Вы лучше вот что посчитайте: сколько сейчас по Гомельской области полей стоит непаханых. Вот это сосчитайте и в управление напишите.

Я сидел и глядел в стакан.

— Товарищ капитан, а я уже писал. Трижды.

— И что вам? — не отпустил он.

— А то, что мне отвечают: в плане на будущий год.

Дрозд усмехнулся, и усмешка у него вышла кривая.

— Ну вот, — подытожил он. — Значит, вы всё правильно делаете. Пишите четвёртый.

***

Тридцать первого мая, в субботу, в четвёртом часу дня, я открыл дело номер сто девяносто восемь.

Взвод разминирования номер тридцать один, Жлобинский район, список личного состава на первое октября тысяча девятьсот сорок четвёртого года.

Машинопись, лента бледная, лист — оборот немецкого продовольственного бланка.

Двадцать девятая строка.

«Тишин Семён Игнатьевич, 1908 г. р., урож. г. Клинцы Брянской обл., до призыва — слесарь».

Я поглядел на эту строку.

И у меня в подвале Гомельского архива стало тихо, как в затопленном доте.

Клинцы.

Водонапорная башня в Клинцах, декабрь сорок третьего года, надпись, прочерченная гвоздём по штукатурке цоколя, которую я срисовал в тетрадь знак в знак.

Он писал её у себя дома.

Я сидел и глядел на строку, и у меня медленно собиралось в голове то, что до этой минуты лежало отдельными кусками.

Слесарь. Мозоль под пальцами от кувалды.

Тысяча девятьсот восьмого года рождения — значит, в сорок шестом ему было тридцать восемь. «Лет сорока, может, чуть больше».

Клинцы взяли в сентябре сорок третьего. Надпись гвоздём — декабрь сорок третьего, то есть через три месяца после того, как город стал наш.

Он писал её уже при нас.

Я перелистнул дело до конца.

И нашёл вторую подшивку.

«Сведения о выбытии личного состава 31-го взвода разминирования за август 1945 г.»

Я вёл пальцем по строкам и на седьмой остановился.

«Тишин С. И., 1908 г. р., 14.8.45, подрыв при извлечении. Опознан по документам».

Я прочёл это трижды.

Потом закрыл глаза и посидел так, наверное, минуту.

Потом открыл и прочёл в четвёртый раз.

Опознан по документам.

Я встал и пошёл к Ольге Тарасовне.

— Ольга Тарасовна, мне нужен акт, — начал я.

Она подняла голову от своих карточек.

— Какой акт?

— Акт о гибели при разминировании, август сорок пятого года, Жлобинский район, — я показал ей строку. — Они ведь составлялись?

— Составлялись, — подтвердила она. — Форма была, три экземпляра: во взвод, в управление и в райвоенкомат.

— А управленческий экземпляр у вас? — уточнил я.

Ольга Тарасовна сняла очки.

— Молодой человек, вы сейчас поймёте, за что я не люблю свою работу.

— Поймите и вы меня, Ольга Тарасовна, — попросил я. — Мне очень нужно.

Она встала.

— Акты сорок пятого года у меня лежат отдельно и не по районам, а по месяцам, — начала она, идя между стеллажами. — И не потому, что я так придумала, а потому, что их сдавали кучей, когда расформировывали взводы.

Она остановилась у восьмого стеллажа.

— Август сорок пятого — вот эти четыре папки. Тут по области сто девять актов.

— Я посмотрю все сто девять, — не отступил я.

— Вы посмотрите все, — согласилась она. — Только я вас выпущу в восемнадцать, и ни минутой позже, потому что я сама ухожу.

Акт я нашёл за час с четвертью, шестьдесят вторым по счёту.

Он был написан от руки, на половине листа, синими чернилами, и подписан командиром тридцать первого взвода младшим лейтенантом Ходько и двумя бойцами.

Я его переписал слово в слово, и вот что в нём было.

«14 августа 1945 г. в 11 час. 20 мин. при извлечении авиабомбы на поле колхоза Красный Октябрь» произошёл взрыв. Боец взвода Тишин С. И. находился у объекта. В результате взрыва тело обнаружено не было. На месте собраны: сапог правый, ремень поясной, книжка красноармейская на имя Тишина С. И. Считать погибшим при исполнении».

Я поглядел на «тело обнаружено не было».

И на «сапог правый».

И на «книжка красноармейская».

Я работал с подрывами четыре года в эту войну и семь лет в ту, свою, и вот что я вам скажу про такие акты.

Когда человек стоит у авиабомбы и она рвётся, тела действительно не находят.

Но при этом не находят и книжки.

Бумага в нагрудном кармане гимнастёрки при подрыве авиабомбы в полутора метрах не сохраняется. Её сжигает и рвёт вместе со всем остальным.

А тут её нашли.

Целую. Опознали по ней.

И сапог.

Правый сапог — это нормально, обувь при подрыве часто отлетает целой, потому что её срывает ударной волной раньше, чем она успевает разрушиться.

Но сапог, ремень и книжка вместе, при отсутствии всего прочего, — это не картина подрыва.

Это выложенный набор.

Я переписал акт, поставил дату, время и расписался, и Ольга Тарасовна поглядела на меня поверх очков, когда я сдавал папки.

— Ну что, нашли своё? — окликнула она.

— Нашёл, Ольга Тарасовна, нашёл.

— По лицу вижу, что нашли не то, чего искали.

Я поглядел на неё.

За одиннадцать дней я с ней почти не разговаривал — она не любила разговоров в читальном зале, — но чаем она меня поила дважды и оба раза молча.

— Ольга Тарасовна, я нашёл ровно то, чего искал, — признал я. — И теперь у меня работы стало вдвое больше.

Она усмехнулась.

— Это у вас всегда так будет, — подытожила она. — Я двадцать лет в архиве. Тут кто ищет, тот всегда находит, и всегда вдвое.

***

В Минск я вернулся второго июня.

Крутов прочёл мою выписку из акта стоя.

И вот тут он сделал то, чего я от него не ждал ни разу за два года: он выругался.

Коротко, в три слова, глядя в бумагу.

— Пётр Андреевич, сколько таких актов было по области за сорок пятый год?

— Сто девять только за один август.

— А за весь год сколько? — уточнил он.

— Я не считал. Думаю, около тысячи.

Он сел.

— Тысяча актов, — повторил он. — И в каждом человек, которого опознали по книжке.

— Не в каждом, — поправил я. — Я просмотрел все шестьдесят два до нужного. В сорока шести случаях тело есть. В одиннадцати — части тела и опознание по товарищам. И в пяти, включая наш, — вещи.

Крутов поднял голову.

— Пять из шестидесяти двух.

— Восемь процентов, — подтвердил я. — И это может быть просто статистика. При работе с авиабомбами такое бывает.

— Может быть статистикой, — согласился он. — А может быть и не быть.

Он придвинул к себе бланк.

— Хорошо. Ходько, младший лейтенант, командир тридцать первого взвода. Его будем искать мы, и это займёт месяц.

Он писал и говорил одновременно.

— А вы поедете в лагерь и спросите у своего немца одну вещь. Не фамилию, фамилия у нас теперь есть. Другую.

— Какую именно вещь?

Крутов поднял голову.

— Спросите, чему именно он его научил.

***

Восьмого июня я приехал в лагерь номер сто шестьдесят восемь, в девять двадцать, как всегда.

Хальм работал.

Он поднял голову, отодвинул чернильницу и придвинул ко мне лист с объектом сто четыре.

А я положил на стол чистый лист, взял его карандаш и написал на нём одну строку печатными буквами.

«Tischin Semjon Ignatjewitsch, 1908».

И повернул лист к нему.

Хальм поглядел на эту строку.

Потом снял очки.

Потом положил их на стол, рядом с листом, и посидел так секунд двадцать, глядя перед собой.

— Где вы это взяли? — спросил он наконец.

— В доте у переезда, в четырёх километрах северо-западнее деревни Застаринье, — ответил я. — Одиннадцатое марта сорок четвёртого года. Вы писали лёжа на спине, на балке перекрытия над входом.

Хальм не двинулся.

— Я писал углём.

— Вы писали углём. Уголь сохранился, потому что вода не дошла до балки на ладонь.

Он поглядел на меня.

— Там была вода? — не понял он.

— Дот стоит в низине и затопляется с апреля по июнь, — я подвинул к нему второй лист, на котором был мой чертёж. — Мы качали его двое суток мотопомпой.

Хальм взял чертёж.

И стал его разглядывать — внимательно, как разглядывал всё, и по тому, как он держал лист, я видел, что он сейчас не про Тишина думает.

— Уровень воды в марте сорок четвёртого года был ниже, — выговорил он. — Я входил в дот по сухому.

— Значит, вам тогда повезло, — заметил я.

— Мне не повезло, — не согласился он. — Я не подумал про воду. Я выбрал балку, потому что на балку не смотрят. А надо было выбирать по уровню.

Он положил чертёж.

— Товарищ младший лейтенант, если бы вода поднялась на одну ладонь выше, вы бы сейчас ничего не имели. Это была плохая работа.

Я поглядел на него.

И вот тут во мне что-то отпустило — не прошло, а именно отпустило, как отпускает сведённая мышца.

Потому что он опять, в третий раз за четыре месяца, сказал не «я виноват» и не «я молодец», а «это была плохая работа».

— Хальм, вы понимаете, что вы этой записью сделали?

— Понимаю совершенно точно, — подтвердил он. — Я сделал то, что мог сделать в марте сорок четвёртого года, и больше ничего сделать не мог.

Он надел очки.

— Теперь вы будете меня спрашивать.

— Буду спрашивать, и много.

— Тогда спрашивайте.

Я достал книжку и открыл на чистой странице.

— Чему вы его научили?

Хальм ответил не сразу.

Он придвинул к себе чистый лист, взял карандаш и разделил его вертикальной чертой пополам.

— Я вам отвечу так, как отвечал бы на аттестации, — начал он. — Слева я напишу, чему я его учил. Справа — чему он научился.

Он стал писать.

Писал минуты три, и я не мешал.

Потом повернул лист ко мне.

Слева было семь пунктов.

Расчёт заряда по объёму и по конструкции. Выбор места заложения. Маскировка закладки. Механизмы замедления, три типа. Нажимные датчики, два типа. Обрывные устройства. Служебная маркировка.

Справа было три.

— Только три? — не понял я.

— Три, — подтвердил Хальм. — Он не взял расчёт, потому что для расчёта нужна арифметика, а он считает плохо. Он не взял механизмы замедления, потому что их надо понимать. Он не взял маркировку, потому что не знал языка. И обрывные устройства он не взял — он их боялся.

Он показал карандашом на правую колонку.

— Он взял выбор места. Маскировку. И нажимной датчик.

Я поглядел на эти три строки.

И у меня похолодело в затылке.

Потому что это был полный набор для того, чтобы ставить в мирное время.

Расчёт не нужен — заряд маленький, двести граммов. Механизм замедления не нужен — датчик ждёт сам. Маркировка не нужна — он и не собирался, чтобы кто-то снимал.

А выбор места и маскировка — это как раз то, из-за чего человек находит железку у себя на огороде.

— Хальм, а он понимал, что берёт?

— Он понимал лучше меня, — признал Хальм. — Я это понял только здесь, в лагере, когда раскладывал по памяти.

Он положил карандаш.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясню, а вы решите, верить или нет. Я учил его для войны. Я думал, что он ленив и глуп, потому что он не взял шесть пунктов из семи.

Он поглядел на меня.

— А он не был ленив. Он брал только то, что ему пригодится потом.

Он снял очки.

— Он с самого начала учился не воевать.

— Хальм, расскажите мне, как он у вас появился.

Он отодвинул чернильницу к краю стола — тот самый жест, которым встречал меня каждое утро, — и, оказывается, он им не только здоровался. Он им освобождал место для разговора.

— Двадцать шестого января сорок четвёртого года я получил приказ, — начал он. — В приказе было написано: для усиления работ прикомандировывается вспомогательный персонал из местного населения, один человек.

Он поглядел на меня.

— Товарищ младший лейтенант, вы понимаете, что это за формулировка?

— Понимаю. Это чернорабочий.

— Это чернорабочий, — подтвердил он. — Копать, носить, подавать. За четыре года у меня таких было около сорока, и я ни одного не помню в лицо.

Он положил ладони на стол.

— Он приехал двадцать восьмого. Один, на попутной машине, с бумагой и с мешком.

— А как он выглядел? — уточнил я.

Хальм подумал.

— Как рабочий тридцати шести лет, — отозвался он. — Среднего роста. Очень широкие кисти. Лицо такое, которое не запоминается, и это я тогда отметил.

— Почему вы это отметили? — не понял я.

— Потому что я двенадцать лет нанимал людей на стройки и научился смотреть на лица, — он поглядел на меня. — Есть лица, которые видишь один раз и помнишь. Есть, которые видишь сто раз и не помнишь. Его лицо было второе.

Он снял очки.

— Через три дня я понял, что мне прислали не чернорабочего.

— А как именно вы это поняли?

— Я послал его за инструментом, — выговорил Хальм. — Я сказал: принеси клещи. Я сказал это по-немецки.

Он положил очки.

— Он принёс клещи.

Я поставил перо.

— То есть он знал немецкий.

— Он знал немецкий примерно как я сейчас знаю русский, — уточнил Хальм. — Плохо, но достаточно. И он это скрывал, потому что при мне он всегда ждал, чтобы я показал рукой.

Он поглядел на меня.

— В тот раз я не показал рукой. Я стоял к нему спиной.

Он помолчал.

— Товарищ младший лейтенант, чернорабочего из местного населения, знающего немецкий язык и это скрывающего, ко мне прислали не для того, чтобы он копал.

— И что вы тогда сделали? — не отпустил я.

— Я стал его учить, — признал он. — А что я мог сделать? Доложить я не мог: приказ был подписан не моим начальником. Отказаться я не мог по той же причине.

Он сложил руки.

— И тогда я сделал третье. Я стал учить его плохо.

Я поднял голову.

— Это как же плохо? — не понял я.

— Не плохо, а не полностью, — поправил Хальм. — Я показывал ему работу, но не показывал причины. Я говорил: ставь сюда. Я не говорил: потому что.

Он поглядел на меня.

— Я полагал, что человек, который знает «куда» и не знает «почему», ничего не сможет сделать один.

Он снял очки.

— Это была моя вторая ошибка за войну, и она хуже, чем бревно на хуторе.

В комнате стало тихо.

— Хальм, а чему он учился?

Хальм положил очки на стол.

И выговорил то, после чего я в этот день больше ничего не записал.

— Он учился делать так, чтобы на земле нельзя было жить, — отозвался он. — И он выучился этому у меня, потому что я именно этим и занимался четыре года, только называл это иначе.

Мы просидели молча, наверное, минут пять.

Потом он придвинул к себе чистый лист.

— Товарищ младший лейтенант, дайте мне до завтра.

— Чего вам дать? — не понял я.

— Время, — уточнил он. — Я хочу написать вам одну бумагу, и я не могу написать её при вас.

— Почему не можете при мне? — спросил я.

Хальм поглядел на меня поверх очков.

— Потому что я буду её три раза рвать, — признал он. — А рвать бумагу при постороннем неприлично.

Я собрал свои листы и встал.

— Хальм, а что вы собираетесь написать?

Он взял карандаш.

— Я собираюсь написать, как ставлю я, — выговорил он. — По пунктам. Место, глубина, маскировка, признаки.

Он положил карандаш вдоль края листа.

— Он учился у меня. Значит, он ставит, как я, плюс то, что он добавил сам. Первую половину я знаю точно.

Он поглядел на меня.

— Я вам её отдам, и по ней вы будете искать не мины, а места.

***

На другое утро он подал мне четыре листа.

Исписанные с обеих сторон, мелко, без единой помарки — то есть он действительно переписывал.

Называлась бумага так: «Признаки выбора места закладки. Составлено по личной практике 1941–1944 гг.»

И в ней было восемнадцать пунктов.

Я прочёл их все, стоя, прямо у стола, и на четырнадцатом у меня пересохло во рту.

Четырнадцатый пункт был такой.

«В жилой местности лучшее место — там, где человек будет работать руками в наклонном положении: колодезный сруб, порог погреба, грядка у изгороди, край огорода со стороны воды. В этих местах человек не смотрит под ноги, потому что смотрит на работу».

Грядка у изгороди.

Огород в Гнилицах, март сорок шестого года, Витька Соломин, четырнадцати лет.

Я поднял глаза на Хальма.

Он стоял по ту сторону стола и глядел на меня, и по лицу его я понял, что он знает, какой именно пункт я сейчас прочёл, потому что он писал эти четыре листа всю ночь и считал, где я остановлюсь.

— Хальм, четырнадцатый пункт, — выговорил я.

— Я знаю, какой это пункт.

— Откуда вы знаете?

Он отодвинул чернильницу.

— Потому что я написал его первым, — ответил он. — У меня он стоял вторым в черновике. Я перенёс его на четырнадцатое место, чтобы вы дошли до него не сразу.

— Зачем?

— Затем, что первые тринадцать пунктов вы прочтёте как специалист, — он поглядел на меня поверх очков. — А четырнадцатый вы прочтёте как человек. И если бы он стоял вторым, вы бы дальше не читали.

Я сел на табурет.

И прочёл оставшиеся четыре пункта, и они были такие же точные, как первые тринадцать, и от этого было только хуже.

— Хальм, я вам задам вопрос, и вы на него не обязаны отвечать.

— Спрашивайте.

— Вы это писали, думая про мальчика в Гнилицах?

Он снял очки.

И положил их на стол, и стало видно его лицо — узкое, с глубокими складками от носа к углам рта, и с покрасневшими веками, и в это утро он не спал вовсе.

— Нет, — не согласился он. — Я его не знаю. Я про него думать не могу.

Он поглядел на меня.

— Я писал, думая про следующего.

Он надел очки.

— Товарищ младший лейтенант, у вас в стране сто миллионов человек, и половина из них живёт на земле, где мы работали четыре года. Каждый год кто-то будет копать погреб, ставить изгородь и чистить колодец.

Он придвинул к себе объект сто четыре.

— Я не могу вернуть мальчика в Гнилицах. Я могу написать восемнадцать пунктов и отдать их вам.

Он взял карандаш.

— Это очень мало. Но это всё, что имеется у человека, который сидит в комнате три на четыре.

***

Четыре листа я в тот же вечер переписал в двух экземплярах.

Один ушёл Астахову — для рассылки по выездным группам, под грифом «методические указания по поиску, составлено по трофейным материалам».

Фамилию Хальма я в них не поставил.

Не из осторожности, а потому, что подумал: если через двадцать лет молодой сапёр будет читать эти восемнадцать пунктов и увидит немецкую фамилию, он их прочтёт хуже.

А второй экземпляр я оставил себе.

Он и сейчас должен лежать где-то в бумагах управления — четыре листа, исписанных мелким почерком человека, который одиннадцать лет строил мосты, три года ставил заряды и полтора года учил русский язык по словарю в лагере под Минском.

Восемнадцать пунктов.

Я по ним потом работал ещё два года и добавил к ним свои четыре, и в сорок девятом отдал всё это в училище, где из них сделали раздел учебного пособия.

Раздел назывался «Особенности поиска в населённых пунктах и на приусадебных участках».

Про то, кто на самом деле написал первые восемнадцать пунктов, я не сказал никому и никогда, и сейчас говорю в первый раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.